ГОРОД МУЗ

Э. ГОЛЛЕРБАХ




Эрих Голлербах — замечательный исследователь живописи, скульптуры, архитектуры и поэзии, работавший в 10-е—40-е годы нашего века. В книге «Город муз» Э. Голлербах рассказывает о русских поэтах, для которых «отечеством» было Царское Село: Пушкине, Кюхельбекере, Анненском, Гумилеве, гр. В. Комаровском... Автор рассматривает Царское Село как «литературный символ и памятник быта».

Э. ГОЛЛЕРБАХ

# ГОРОД МУЗ

# ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТОЛОГИЯ




*Выпуск третий*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Э. Голлербах. Начало 20-х годов
Фото М. Наппельбаума

*Э. ГОЛЛЕРБАХ*

# ГОРОД МУЗ

## ЦАРСКОЕ СЕЛО В ПОЭЗИИ

«Арт-Люкс»
Санкт-Петербург
1993

Предисловие Е. ГОЛЛЕРБАХА

# ЦАРСКОЕ СЕЛО — СВОБОДНЫЙ ГОРОД

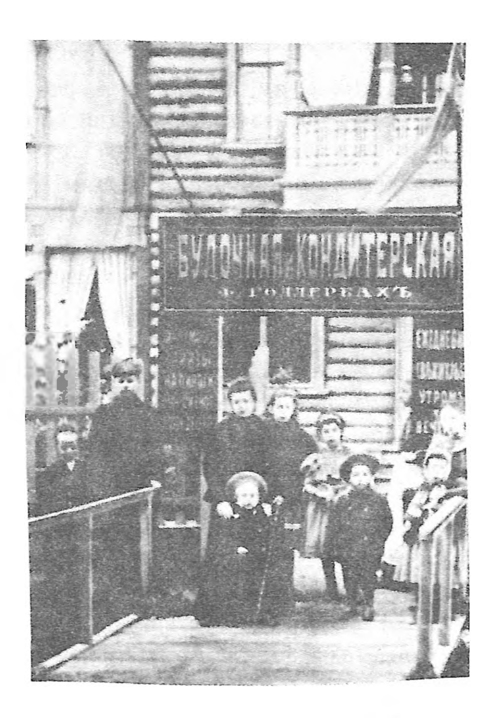
Эта книга необычна. По многим причинам, и прежде всего потому, что она — о необычном городе, Царском Селе. Городе загадочном и неповторимом, городе, каждая прогулка по которому становится в прямом смысле прогулкой по русской литературе, по русской истории.

В этом городе всё — литература, и всё — история. Здесь все имеет особый, двойной смысл — как в поэзии символистов; за всем стоят книги и судьбы, на каждом перекрестке здесь — свои фантомы.

Царское Село — цитадель русской культуры, причудливое явление, феномен, и поныне не понятый, не оце-

ненный вполне. «Отечество нам Царское Село», — сказал когда-то наш первый поэт. И он был прав, конечно; прошедшие вслед за этим десятилетия показали, что Царское Село — отечество не только для лицеистов пушкинского поколения, но и для всей позднейшей русской литературы. Не каждый российский писатель вышел отсюда, но то, что здесь родилось, составило действительную гордость и славу отечественного искусства.

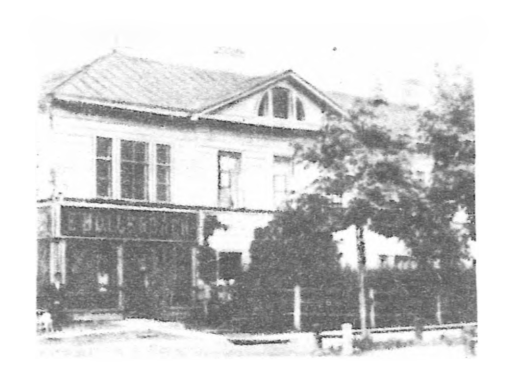
Огромны заслуги Царского Села перед русской литературой, и все же, кажется, в еще большей степени Царское Село — явление общеевропейской культуры, вершина российского европеизма. Вполне безумная попытка вырастить сад на продутом всеми ветрами русском гуляй-поле. Наивная, а потому, может быть, и безуспешная, — но сколько прекрасного




Крайний слева — Э. Голлербах.
Конец 90-х годов

подарила она нам, и сколько творческих событий запомнило Царское Село!

Необычна эта книга и другим — личностью ее автора. Вениамин Каверин, вспоминая как-то о царскосельской писательской колонии первых послереволюционных лет, перечислил несколько имен художников, живших здесь тогда «согласно моде»: Алексей Толстой, Ольга Форш, Эрих Голлербах. Последнее имя в этом ряду все же стоит особняком. И дело тут не только в том, что, замалчивавшееся десятилетиями, оно мало известно широкому читателю. Есть другая причина: для Голлербаха Царское Село было не модным местом жительства, престижным писательским городком, а тем, что обычно принято называть «малой родиной». Он родился здесь, рос — он



Кондитерская Ф. Голлербаха

был, так сказать, **органическим** царскоселом, и поэтому его отношения с городом были совсем иными, чем у многих писателей, живших здесь. Они были гораздо глубже и прочнее, гораздо серьезнее и таинственнее. Мало кто в нашей литературе был столь посвящен в жизнь и тайны Царского Села, как Эрих Голлербах.

В каждом городе, известно, всегда есть свой «неформальный центр». Чаще всего это бывает какое-нибудь кафе, пользующееся особенной популярностью у местных жителей. В Царском Селе на рубеже веков таким местом была кондитерская Голлербаха. Она привлекала горожан и удобным месторасположением (в самом центре, на углу Московской и Леонтьевской улиц, — в двух шагах от пушкинского Лицея и как раз напротив царскосельского Гостиного двора), и неизменным радушием немцев-хозяев, и витринной диковинкой — огромным механическим медведем, привезенным из Германии. Медведь скалил огромные клыки и держал в лапах серебряный поднос с разнообразным сладким товаром — главной достопримечательностью кондитерской.

Давно нет медведя, нет и самого дома, а образ кондитерской все-таки остался — десятилетия спустя Анна Ахматова говорила о ней как об источнике «самых сладких воспоминаний»...

В этом доме и родился в марте 1895 года Эрих Федорович Голлербах. Особенного интереса к ремеслу, которым занимались уже несколько поколений семьи, он не проявил — гораздо больше его улекало все, что было за стенами отчего дома, — прекрасный, свободный город с его церквами и особняками, таинственными парками и дивными памятниками. Искусство и литература, которыми был пропитан сам воздух Царского Села, оказались для Голлербаха гораздо реальнее точных дисциплин, преподававшихся ему в царскосельском Реальном училище.

В 1911 году он поступает на общеобразовательный факультет Петер-

бургского психоневрологического института, как заметит однажды сам Голлербах, «в то время самого свободного (и самого бесправного) высшего учебного заведения». Лекции здесь читали такие профессора, как С. А. Венгеров, Н. И. Кареев, Е. В. Де-Роберти, серьезно преподавалась история литературы, философия, социология... Затем — учеба на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета и — одновременно — на историко-филологическом факультете.

Уже в студенческие годы Голлербах начинает литературную работу: занимается проблемами философии и изобразительного искусства, теорией и историей литературы, пишет стихи. Знакомство с Николаем Бердяевым, Зинаидой Гиппиус, близкая дружба с Василием Розановым, общение с




Ф. Голлербах

другими художниками «серебряного века», изучение их творчества накладывают свой отпечаток на взгляды молодого писателя, помогают ему многое определить в своих пристрастиях. Но Царскосельские, ранние, впечатления были именно той основой, на кото-

рой росло все его творчество последующих лет. И это заметно по многим более поздним статьям и книгам Голлербаха, «несущими конструкциями» которых неизменно являлись верная любовь к искусству, естественный гуманизм, глубокий пиетет к культурной традиции.

Такие позиции были не слишком удобными в годы, когда безоговорочное отрицание прошлого стало государственной политикой. Сама история, казалось, выдвигала иные приоритеты. Революционные потрясения сопровождались гибелью памятников и библиотек, расхищались дворцы и музеи, но мало кто обращал в те годы на это внимание. Голлербах определил свою судьбу в соответствии со своими убеждениями: он участвует в спасении национальных сокровищ, в 1918 году — как научный сотрудник Художествен-



М. Добужинский.
Портрет Э. Голлербаха, 1923 год. Рисунок

но-исторической комиссии в Детском (Царском) Селе, затем — как научный сотрудник Отдела по охране памятников искусства и старины в Петрограде. Замечательный русский искусствовед Георгий Лукомский, бывший в то трудное время рядом с Голлербахом, вспоминал позднее, уже оказавшись в вынужденной эмиграции, о том, как им приходилось работать в промерзших помещениях: «при температуре в 6° по Реомюру».

Защита культуры и ее пропаганда стали основным содержанием деятельности Голлербаха в то время. Культуртрегерство было не самым близким ему делом, но жизнь требовала этого, и он занимался просвещением народа — работая в Русском музее и музее Академии художеств, читая лекции и выступая в печати. Это была немыслимо трудная работа, и, увы, далеко не всег-



Э. Голлербах в Художественной части Госиздата, 1924 год

да она давала желаемый результат, но даже безуспешные попытки (вспомним формулу Ходасевича) «привить классическую розу к советскому дичку» были для Голлербаха его нравст-

венным долгом, и он выполнял этот долг как мог.

Все эти годы особое место в творчестве Голлербаха продолжала занимать тема Царского Села. Он вновь и вновь возвращался к ней, потому что видел в родном городе символ духовности и культуры, понимал его как явление особой природы, имеющее безусловное значение и для современности тоже. Такой взгляд Голлербаха ясно проявился в целом ряде статей и таких книгах, как «Детскосельские дворцы-музеи и парки», «Собрание Палей в Детском Селе», антологии «Царское Село в поэзии»... Но наиболее очевидно это в книге «Город муз».

Существует два варианта этой книги. Первый вышел в 1927 году мизерным тиражом в триста экземпляров и поэтому, к счастью, не привлек внимания современной критики, зато нашел

благодарного читателя среди интеллигенции (об этом, например, можно прочитать в «Предисловии ко 2-му изданию»). У второго, переработанного, варианта книги «Город муз», вышедшего три года спустя несколько бо́льшим тиражом, судьба была гораздо более печальной.

Хотя эта книга, как и первое издание, не стоила государству ни копейки, а была издана автором самостоятельно, за свой счет, советская печать отреагировала на ее выход болезненно: стали раздаваться упреки в том, что, вместо печатания коммунистической литературы, типографии занимаются вредной филантропией и используют дефицитные полиграфические мощности для выпуска сомнительных книжек. Все это имело ясную политическую подоплеку, которую откровенно выразил напостовский

критик А. Михайлов в погромной статье «Апология дворянской культуры». Он разоблачал увиденную им в «Городе муз» «весьма земную идеологию — идеологию реакционера, занимающегося апологией Царского Села как памятника дворянско-императорской культуры, ее «души», как верного приюта певцов и ревнителей этой культуры. Гумилев, Анненский, Ахматова и др. как раз и были певцами этой культуры, одними из ее последних представителей, и те восторги и фимиамы, которые расточает и воскуряет перед ними Голлербах, идут именно по этой линии. Разве из книги Голлербаха можно выудить хоть одно слово о том, что Гумилев — представитель враждебной нам классовой культуры — дворянской, — монархист, контрреволюционер, боровшийся с пролетариатом (что органически выте-



В. Конашевич.
Портрет Э. Ф. Голлербаха, 1926 г. Рисунок
*(фрагмент)*

кает и из его творчества); что Ахматова отвергла революцию ради воспоминаний о прошлом, ради мистицизма и т. п. Нет, в этой книге мы найдем только апологию и через эту аполо-

гию — навязывание дворянской поэзии как наиболее высокой, утонченной и человечной. «Литературный подвиг» — вот как характеризует их творчество Голлербах». Статья требовала расправы с мракобесием в лице его конкретного носителя — Голлербаха. С кремлевской трибуны, выступая на XVI партсъезде, В. Киршон назвал «Город муз» «враждебной литературой», «литературой, которой не место в нашей стране в эпоху обостренной классовой борьбы». Мнение отчасти справедливое, сегодня мы можем, наверное, согласиться с ним, поскольку то, что кремлевскому оратору когда-то представлялось страшным пороком, теперь, с точки зрения здравого смысла, оказывается явным достоинством. Тогда же эта формула звучала приговором.

Такое обсуждение книги мало похо-

дило на литературную дискуссию, критика апеллировала к цензуре, к репрессивным органам, к партийному руководству. В 1933 году Голлербах был арестован по вздорному обвинению во вредительской деятельности: это было «дело Иванова-Разумника», известного царскосельского литературоведа, и целой группы его знакомых. «Дело» было сфабриковано властями и описано самим Разумником в его изданных на Западе воспоминаниях. Хотя заключение обвиненных в заговоре писателей длилось недолго, оно ясно показало им, что свободной литературы в этой стране больше нет.

И все-таки Голлербах сделал многое за последние десять лет своей жизни. Он работал в музеях и издательствах, организовывал выставки, был художником, критиком, библиографом, коллекционером, переводчи-

ком, серьезным исследователем. Литературоведческое наследие Голлербаха составляют труды об Александре Пушкине, Василии Розанове, Александре Блоке, Алексее Толстом, Михаиле Кузмине, Давиде Бурлюке, Акиме Волынском, Федоре Сологубе — статьи и книги, написанные человеком увлеченным, порой пристрастным, но всегда честным и знающим. Он говорил о литературе, о своих предшественниках и современниках, архаистах и новаторах не так, как говорил бы посторонний наблюдатель, безразличный истолкователь чужого творчества. Он сам был частью этой литературы, полноправным участником диалога прошлого с настоящим, живым человеком, хранителем культуры. В этом качестве он воплотился, быть может, наиболее полно.

Как художественная проза, увле-

кательно и легко, читаются многие статьи и книги Голлербаха по изобразительному искусству: «Рисунки М. Добужинского», «Портретная живопись в России. XVIII век», «А. Я. Головин. Жизнь и творчество», «Графика Б. М. Кустодиева», «Искусство Д. Бурлюка», «Рерих», труды, посвященные творчеству Валентина Серова, Михаила Врубеля, Георгия Нарбута, Натана Альтмана, Максимилиана Волошина, Анны Остроумовой-Лебедевой, Виктора Замирайло, Кузьмы Петрова-Водкина... И это при удивительной точности анализа, глубине понимания искусства, редкой квалифицированности суждений, что всегда отмечали и сами художники, и коллеги-искусствоведы.

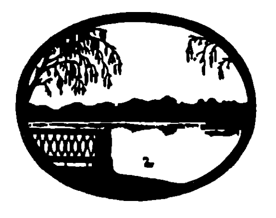
Для Голлербаха искусствоведение не было просто профессией. «Ни в одной области жизни не дышится так

легко и свободно, как в области **Искусства**», — писал он в личном дневнике в конце тридцатых годов. Искусство для Голлербаха было способом существования, это был выход из безвыходности, внутренняя эмиграция. Духовная сфера была не самой надежной, но единственнной реальной альтернативой бреду настоящего. Голлербах неизменно хранил свою «тайную свободу», о которой писал Блок, и эту свободу ему помогало хранить Царское Село. Город муз, свободный город.

*Е. Голлербах*

Э. ГОЛЛЕРБАХ

# ГОРОД МУЗ



ЛЕНИНГРАД
1930



Э. ГОЛЛЕРБАХ

# ГОРОД МУЗ






ЛЕНИНГРАД
1=9=3=0

ОБЕРТКА, ОБЛОЖКА, СИЛУЭТЫ И НАЧ.
БУКВЫ И ПР. — РАБОТЫ АВТОРА.
ОТПЕЧАТАНО В КОЛИЧЕСТВЕ
1000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Памяти

Иннокентия Федоровича

**АННЕНСКОГО**

Отечество нам — Царское Село.

*А. Пушкин*

Царское Село — мир воспоминаний...

*Кн. П. Вяземский*

Города обладают индивидуальностью, резко выраженным характером... Город — обособленная душа, и стоит прожить в нем немного, как влияние этой души коснется нас, подобно электрическому току.

*Ж. Роденбах*

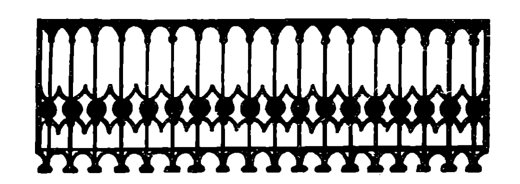
Я чту умерших, и всегда, где мог, давал им волю и дивился их уживчивости...

Будь между мертвых. Мертвые не праздны.

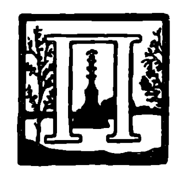
*Р.-М. Рильке*

Приветами, встающими из
гроба,
Сердечных тайн бессмертье
ты проверь.

*А. Фет*



## ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-МУ ИЗДАНИЮ

ервое издание «Города муз» вышло в 1927 г.; попытка впервые перенести «царскосельские темы» в план causerie' йносказового жанра встретило сочувствие со стороны многих товарищей-писателей и друзей литературы. Было отмечено, однако, что пушкинская эпоха подана слишком сжато, конспективно, — этот недостаток автор пытается ныне исправить, он останавливается на «окружении» Пушкина, на лицейском быту.

«Город муз» — скорее повесть, чем «исследование»: автор больше прислушивался к тому, что Б. Констан и Флобер называют: «mémoire du coeur», к своей «faculte èvocatrice» (П. Адан), чем к голосам литературных чревовещателей и прозекторов.

Согласимся с Гонкурами: «Il faut pour s'intéresser au passé qu'il nous revienne dans le coeur. Le passé qui ne revient que dans l'esprit est un passé mort...»

Итак, автор не расчитывает на одобрение тех, кто «сушит и анатомит Пушкина» (или кого-нибудь другого), кто «обрывает розу, чтобы листок за листком доказать ее красивость» (кн. П. А. Вяземский, письмо А. И. Тургеневу). Автор не углубляется в генезис и морфологию лицейских стихов Пушкина: «смешно хрипеть с кафедры два часа битых о беглом порыве соловьиного голоса».

«Город муз», как легко может приметить читатель, есть сочинение, местами написанное в антологическом духе. Полагая, что каждая литературная эпоха

имеет свою физиономию, и силясь передать существо оной с верностью, автор счел приличным разбросать кое-где цветы словесности, излюбленные писателями того времени, ибо оные цветы, так сказать, взяты из самой природы.

Автор убежден, что многие особенности раннего творчества Пушкина становятся понятными только при изучении царскосельского пейзажа и быта. То же отчасти относится и к поэзии Анненского. Вообще, «краеведческие» экскурсы не должны ли служить пролегоменами к историко-литературным штудиям? Разве между «изоискусством» и искусством «слова» нет родственных уз, и разве всякое искусство не есть высшее утверждение жизни, на какое способен человек?

Так или иначе, но появление «Города муз» было чревато лестными для автора последствиями.

Книга имела головокружительный успех. Указывалось, что «давно пора так подойти к изображению Царского Села». Сам разрушитель формального метода,

марксист и блокист П. Н. Медведев в одно прекрасное утро, обняв автора за талию, щедро осыпал его, недостойного, как Юпитер Данаю, червонным золотом баритональных комплиментов. Современник Овидия, великий Осип Мандельштам, выучил наизусть несколько страниц из «Города муз» и декламировал их автору в вагоне между Детским Селом и Ленинградом. Менее великий, но все же многозначительный Вл. Пяст крикнул автору на углу бывш. Невского и бывш. Садовой: «Вы написали потрясающую книгу!» Иванов-Разумник, ознакомившись с «Городом муз», сделал две важные «фактические поправки»: 1) до 1917 г. он сапог с голенищами не носил, 2) у его собаки нюх не пропал, а только притупился, — но книжку одобрил. В. Е. Евгеньев-Максимов, встретившись с автором на Предтеченском рынке, у ларька «холодного» букиниста, воскликнул: «Что же это Вы опозорили меня на всю Россию? Насчет штанов-то, а? Впрочем, я не сержусь, книжка прелестная». А. Н. Толстой не промолвил по поводу

«Города муз» ни полслова, но за обедом, как ни в чем не бывало, предложил автору отведать столь отменной настойки, что в ее живительных свойствах заключалась, так сказать, потенциально, вся возможная сумма похвал. Всев. Рождественский просто плакал слезами умиления, и жилет автора до сих пор хранит следы этих поэтических, незабываемых слез. Заслуженный испанист, Б. А. Кржевский, произнес на вечеринке у Анненских небольшой, но зажигательный спич, в коем проявил, — мало сказать, дифирамбическое — дионисийское отношение к «Городу муз», предложив в заключение выпить за подтяжки автора, хотя оные подтяжки никакими особенными достоинствами не отличаются и куплены не в каком-нибудь мелкобуржуазном О-Бон-Маршэ, а в честной Ленинградодежде, не блещущей, к сожалению, высоким качеством продукции.

Не преминем также отметить, что некоторые лица (лирически настроенные), пользуясь малым форматом «Города муз», стали носить эту книжку

в бумажнике как самую дорогую им вещь, как знамя разлагающейся интеллигенции, вместе с расписанием поездов и табель-календарем на 1917 г. Даже жестоковыйный П. И. Чагин и бурномаститый И. Р. Кугель благословили «Город муз» и напечатали отрывки из него в вечерней «Красной Газете». Более того, на перманентно-хмуром лике всемогущего Д. Н. Ангерта, верховного жреца Ленотгиза, «Город муз» вызвал отдаленное подобие благосклонной улыбки, и только случайной «неувязкой» можно объяснить отсутствие марки ГИЗ'а на втором издании. В бибиотеке ГАХН установилась очередь жаждущих прочесть «Город муз». Провинциальные поклонники фотографировались с «Городом муз» в руках (чему есть вещественные доказательства). У некоторых, особенно энергичных, поклонников возникла даже мысль о сооружении соответствующего мраморного монумента в одной из уединенных аллей Екатерининского парка, но автор, учитывая хроническую безносицу (несмотря

на ежегодные реставрационные усилия скульптора Разумовского) парковых статуй, решительно отклонил эту честь. Правда, были случаи разлития желчи, вызванные «Городом муз», а в наиболее глухих углах провинции, например, в Детском Селе, наблюдалось, по слухам, некоторое брожение умов среди туземных шкрабов: «Худо», дескать, «выражается автор о своем директоре. Покойник хоть и старорежимный, а как никак — начальство. К начальству нужно сознательное уважение иметь».

Всем не угодишь! Ремесло авторское есть одно из самых неблагодарнейших на земле. Сколько сердечных неудовольствий приходится испытывать сочинителю от завистников, хулителей, держиморд и просто от безвкусия непросвещенной публики! За каждым шагом его следит воспаленное и раздражительное племя зоилов, злословие коих неутомимо; разница между разбойником и злословным зоилом только в том и состоит, что первый режет ножом, а второй словами, за кои еще и гонорарий получает. Зоил

есть винера, поистине существо морально-безобразное, конвульсивное, не ведающее натурального состояния души.

Иные скажут, что автор «Города муз» порою скатывается в колеснице дружбы по скользкому склону красного словца, из чего можно предположить, что для него нет на свете ничего святого. Совсем наоборот: нет на свете ничего, что не было бы для него несвято. Последнее явствует уже из того тщания, с каким сочинитель «Города муз» избегает в своем изложении двусмысленных оборотов речи, неоднократно навлекавших на него перуны бдящих блюстителей. Скажешь иной раз слово, как будто приятное, а оно, оказывается, черт знает, до чего непристойно. И получается, как в рассказе Горбунова «Затмение солнца»: «...Поймете, когда в диске будет.» — «Почтенный, вы за это ответите!» — «За что?» — «А вот за это слово ваше нехорошее...»

Несмотря на козни злопыхателей, «Город муз» получил исключительное распространение: 300 экземпляров разо-

шлись среди 150-миллионного населения СССР в какие-нибудь жалкие полгода, и автор (он же на сей раз издатель) даже заработал на своем предприятии 4 р. 50 к. (явно не подлежащие ведению фининспектора), кои и были им истрачены на покупку нескольких полезных многотиражных книг, как-то: «Руководство по куроводству», «Азбука электромонтера», «Как устроить избу-читальню» и «Хлебозаготовки в городе и деревне». Утаить этот факт значило бы лишний раз подтвердить свою репутацию махрового идеалиста и беспочвенного эстета. Скажем еще сильнее: не упомянуть об этом моменте (т. е. 4 р. 50 к.), выдвинув только вышепоименованные второстепенные мелочи, значило бы уподобиться Собакевичу, который на завтраке у полицеймейстера съел целого осетра, а затем пришипился так, как будто и не он, и, отойдя в сторону с невинным видом, тыкал вилкою в какие-то сушеные маленькие рыбки.

— Какое витиеватое и длинное предуведомление! Но — увы! — автор не сумел

выразиться проще и не имел времени написать короче. Уж это — кому как дано. Известно, например, что Иван Иванович Перерепенко, если, бывало, попотчевает вас табаком, то всегда наперед лизнет крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» Иван же Никифорович Довгочхун даст вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь».

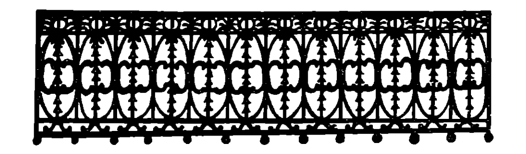
Что же присовокупить ко всему изложенному, дорогие читатели? Что же сказать о втором издании, и по качеству, и по объему превышающем первое «на все 200 процентов» и украшенном собственноручными рисунками автора, который трудился над ними денно и нощно, вызывая справедливые нарекания домашних, обеспокоенных его боваризмом? Федор Толстой, Нарбут и автор «Города муз» — вот та триада, с которой будущий историк искусства свяжет вершинные достижения русского силуэтного мастерства. К тому времени автор «Города муз» будет уже в Гесперидовых садах;

услышав такой приговор, он, как человек вежливый, не замедлит уступить свое место Е. С. Кругликовой и В. В. Гельмерсену.

Несколько самовлюбленный, как все пожилые люди, но, в общем, симпатичный автор, чуждый всякой саморекламы («что слава — ветхая заплата» et cetera, et cetera), заявляет просто и скромно: предлагая бесподобный труд свой в исправленном, дополненном и переработанном виде, он рассчитывает на удвоенное сочувствие читателей или, как выразилась сто лет тому назад г-жа А. Готовцева (в альманахе «Северные цветы») — «взлелеянный отрадой вспоминанья, надеется и ждет — улыбки и вниманья».

29 января 1930 г.
Вагон „Ленинград—Москва"





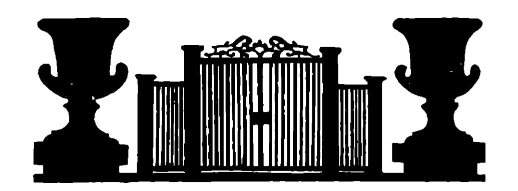
## ПРЕДИСЛОВИЕ К I-му ИЗДАНИЮ




етское Село как литературный символ и памятник быта — такова тема моего очерка. Начиная с *предшественников* Пушкина и кончая плеядой Анненского, Царское Село имело характерное «лицо», составляло определенный *литературно-бытовой комплекс*. В этом его отличие от Петергофа, Гатчины и прочих «царских резиденций». В Царском Селе нам дорого не «царское», а *вечное*. В нем пленительно, прежде всего, обаяние литературного подвига.

О художественно-историческом образе этого города написано достаточно, — о его литературно-бытовом строе — почти ничего. Пробегая бережной памятью весь путь, ведущий от Саари-мойс к Детскому Селу, мы чувствуем, как потускнела и выветрилась жалкая в своем великолепии бутафория царизма. Чем-то опереточным кажутся придворные церемониалы, гвардейская бравада, светская иерархия. И совсем на другом полюсе жизни, в ином плане бытия пребывают не тронутые бурей перемен, не смытые рекой времен — высокие блага литературы. К ним склоняется и с ними живет творческое воспоминание. В них познается нестареющая и прекрасная душа Сарского — Царского — Детского Села.





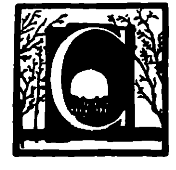
## 1

Там новые водам открылися пути.
И славных росских дел явились монументы.

*И. Богданович*

Тут был Эдем ее прелестный
Наполнен меж купин цветов.

*Г. Державин*



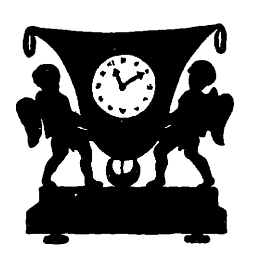

ловно золоченые завитки рокайля, нарядные и наивные, извиваются сладкие похвалы Царскому Селу в стихах Ломоносова, Богдановича, Державина, и музыка их звучит, как мелодия менуэта в огромной, гулкой галерее Большого Дворца. Сотни огней дробятся в зер-

калах, ложатся пламенными бликами на пухлые щеки амуров и тусклым серебром тонут в мутной сини запотевших окон; проплывают пестрые шелка — шинуазери и гроденапль, шелестят упругие складки камзолов и робронов, низко склоняются парики в почтительных поклонах, и восхищенный шепот сопровождает напыщенную декламацию поэта:

«Как если зданиям прекрасным
Умножить должно звезд число,
Созвездием являться ясным
Достойно Царское Село...»

Ослепительно прекрасна барочная обитель порочных цариц. Возможно ли в кратких строках описать «сей великолепной увеселительной дом, которому не много есть на свете подобных»? «Летнее и зимнее пребывание там равным образом приятны», —уверяет Федор Полунин («Географический словарь», 1773). «Главной дом различным образом пребогато украшен; парадное крыльцо весьма великолепно, коим и чрез многие покои проходят в залу, где стены

зеркальные вызолочены и сделаны в ней трои двери...» «Из покоев некоторые украшены мозаиком, а другие ентарем, третьи китайскою работою, прочие же каждой отменным образом. В зверинце достоин примечания зверинной дом, состоящий из одного павильона, в коем



стены украшены писанными изрядным мастерством картинами, всяких зверей, скотов, птиц и рыб представляющими. Да не меньше же пленяет взор Ермитаж, находящийся в пространном саду. А что больше всего удивляет вновь туда приезжающих — есть блистание двух

купол на главном доме, червонным золотом вызолоченных, и что во многих местах вызолочены и гымзы, и прочия украшения с наружия, из чего на внутреннее украшение заключить можно».



Вся вселенная, кажется, содействовала украшению сего дворца: Италия самыми редкими мраморными произведениями резца и мозаическими картинами; Индия

и Южная Америка устлали паркеты драгоценным деревом и блестящим перламутром; Пруссия доставила янтарь свой; Саксония, Китай, Япония приготовили для царскосельских чертогов свой пестрый фарфор; Тибет представил редких, странных своих истуканов, древние уборы, сосуды; Франция — лионские шелка, мебель, картины; Англия — изделия Веджвуда, медальоны господина Флаксмана — да всего не перечесть...

И разве не прав Ломоносов, сказав, что «скоро Рим пред нами постыдится», если даже французский посол, пораженный красотой «царского дома», сокрушался об отсутствии футляра для сей драгоценности? Веселые музы, так любившие в XVIII веке придворную жизнь за блеск фейерверков, роскошь маскарадов и тонкую лесть красноречивых комплиментов, привлеченные «великолепием чертогов позлащенных», немедля поселились «в приятных сих местах», воспетых автором «Душеньки». Нежнейшая из муз, покровительница лирики, обернулась здесь Пленирою. С ней бро-

дит старик Державин «между столпов и зданиев Фемиды», катается на лодке «при гласе лебедей» и упивается «возды-



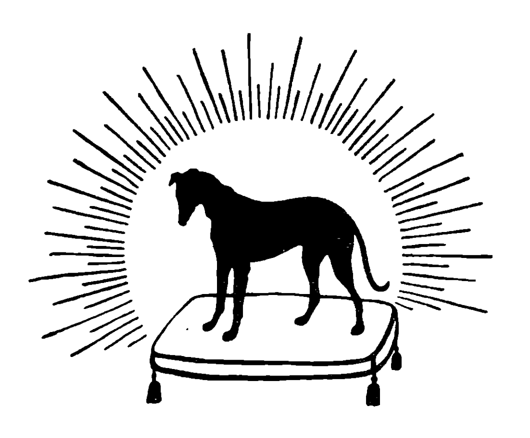
ханием роз». А сама «Фемида» по утрам, в заново отделанных Камероном апартаментах дает аудиенции, обсуждает дела государственные и дела амурные.

В 8 ч. утра толстая старуха в белом гродетуровом шлафроке и батистовом чепце, надетом слегка набекрень, выплывает из опочивальни в «серебряный кабинет». На маркетированном бобике дымится чашка крепчайшего кофе, на подносе лежат письма с сургучными печатями, лупа. Узкие зеркальные панно отражают пухлое, помятое лицо, с гусиными лапками у глаз. Монархиня зевает, голубые очи увлажняются слезой. Не спала всю ночь — отчасти потому, что скорбела, отчасти потому, что утешалась. Вчера — ах! — в бозе почила Земира, любимая левретка царицы... До рассвета изливала огорченная государыня державную свою скорбь на груди Ланского. Кто же утешит, как не он?..

«От зари до зари... Спасибо Ланскому, разуважил...»

У дверей — Перекусихина, с полупочтительной, полуфамильярной улыбкой, с ямочками на ярко нарумяненных толстых щечках, похожих на зад младенца, запачканный брусничным вареньем.

— «Машенька, — вздыхает Екатерина Алексеевна, — подай очки, Машенька. Ох, не люблю я их, да делать нечего: в



долговременной службе государству притупили мы зрение...»

Пауза. Шелестят письма, государыня пробегает ажурные строки мадам Жоф-

рен, рассуждения Гримма, рапорт Рейфенштейна. Камер-лакей приносит пакет от французского посла графа Сегюра, коему заказана эпитафия на могилу незабвенной Земиры. Екатерина вскрывает конверт, развертывает послание, слезы снова заволакивают лазурные очи:

«Ici répose Zémire, et les graces en deuil
Doivent jetter des fleurs sur son cerceuil...»

— «Машенька, послушай, как хорошо:

«Quand on aime, on craint tant! Zémire aimait tant celle
Que tout le monde aime comme elle!..»

«Ваше величество, как тут много ума и остроты, любезности и правды!..» — «Ах, Машенька, велико удовольствие честным душам видеть добродетель и заслуги, общими похвалами достойно венчаемые!.. Я прикажу вырезать эту



надпись на мраморной плите. Передай стихи генералу Бецкому, скажи, чтоб распорядился...»

В 12 ч. государыня выходит на зеркальную площадку, садится на зеленый сафьяновый диван. Розы «висячего сада» струят густые, мягкие свои ароматы, зефир шевелит их лепестки... Как снег, сияют на фоне безоблачной лазури ионические колонны галереи. Внизу, вдалеке — безмятежная гладь тихого озера...

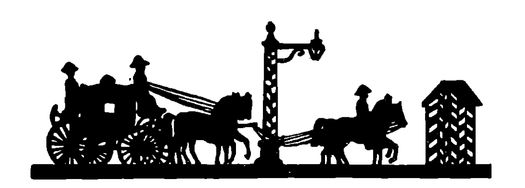
Держа шляпу под мышкой, опираясь на трость с набалдашником — золотой луковицей, подымается по склону Пандуса юный генерал-поручик Ланской, свежий после купанья, как цветок, умытый росой.

«Александр Дмитриевич, господин Гримм пишет мне, что он в восторге от посланного Вами нашего портрета. Vous etes un grand silhouetteur! Он сравнивает Вас с самим Сидо... Кстати: нам угодно, чтобы с сего силуэта чеканилось изображение наше на серебряных рублях. Примите меры».

Ланской подает руку и, тяжело опираясь на эту твердую, сильную руку, Екатерина спускается в парк. Они идут к пруду, туда, где нагромождены ящики, недавно полученные из Афин. Рабочие вынимают из стружек драгоценные паросские мраморы. За работой надзирает неуклюжий, лобастый человек с огромным широким носом и оттопыренными ушами — сам знаменитый Кваренги, прозванный мужичками — «варенье» — за сладость речи.

«Тысячи две лет тому назад современники Перикла и Алкивиада любовались сими барельефами, не чая, что судьба перебросит античный мрамор из Афин в северный сад Фелицы», — восклицает Ланской...





## 2

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...
*А. Пушкин*



Идут годы... Отцветают пышные розы Фелицы, осыпаются их лепестки от гатчинского аквилона.

Неясна грань, разделяющая век от века: закатные лучи екатерининской эпохи еще золотят ранние творения Пушкина, а в нем самом уже зарождается предчувствие «тайной свободы».

Широкой волной расплывается на рубеже двух столетий благоухание «Розового Поля», но уже примешан к нему тяжелый аромат лилеи, на которую так похожи туники Ампира. Холодок классических статуй неуступчив, но мрамор постепенно теплеет под жарким дыханием романтики.

Кваренги возводит строгие свои колоннады, упоительно-спокойные, величаво-простые дворцы, строит Александровский Дворец, Лицейский флигель.

1811 год, 19 октября: в лицейской зале, между колоннами, стол — покрытый красным сукном, с золотой бахромой. В первом ряду — розовая плешь и голубая лента Александра, белые шелка «вдовствующей» и «молодой»; рядом с ними — курносый и веселый Константин, Анна Павловна, дряхлые звездоносцы, элегические фрейлины. «Мартын» читает дребезжащим, тонким голосом манифест об учреждении Лицея и высочайшую грамоту. При словах: «телесные наказания запрещаются» — министр, 80-летний Разумовский неодобрительно качает голо-

вой, берет понюшку из пакетовой табакерки, чихает со всей энергией презрения.

В группе лицеистов — смуглый, курчавый, быстроглазый «арапчонок». «Le teint frais, les cheveux blonds et la tête bouclée», «vrai démon pour l'espièglerie, vrai singe par sa mine». Ему неловко, неуютно в новеньком синем мундире с серебряными петлицами, жесткий красный воротник давит шею, белые панталоны узки, ботфорты тяжелы, как подковы.

Вечером, поднявшись наверх, в четвертый этаж, в дортуар, с наслаждением сбрасывает он всю эту сбрую, зажигает свечу, бросается на железную кровать, достает из-под подушки томик Апулея. Не спится, не читается... Поболтать, что ли, с соседом? И он анахронически стучит в тонкую перегородку, за которой помещается «Кюхля»:

«Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!..» —

но Вильгельм ответствует громким храпом. Сверчок зовет другого соседа,

Пущина, — с ним есть о чем поговорить, не то, что с каким-нибудь Комовским или Броглио...

Незаметно пролетает в беседе час, другой... Уже розовоперстая Эос простирает лучи за решетку окна. В шесть утра — звонок, призывающий из царства Морфея в мир будничной яви. Одежда по будням проще — сюртук вместо мундира, синие брюки, ботинки вместо ботфорт. Утренняя молитва, уроки, чай, прогулка и опять нескончаемые уроки — до вечера. После ужина — «рекреация» с 9 до 10. В этот час приятно заглянуть к дядьке Леонтию, у которого всегда найдется чашка кофе или шоколада, конфекты и даже «контрабанда» — ликер.

Обед и ужин — не плохи, но все же нередко в бороду Золотарева летят пирожки с фаршем двусмысленного качества. За столом «чинопочитание»: ослушники — на последних местах, благонравные — на первых:

«Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе...»

Недурно побаловаться гогель-могелем и ромом, но — потихоньку, чтобы не вышло «истории», как в тот раз, когда «Пушкин, Пущин и барон по бокалу осушали и Фому прогнали вон». Дядька Фома лишился места в Лицее, а любители гогель-могеля — две недели стояли на коленях во время молитвы и попали на последнее место за столом.

Утешились очередным «фарсом», с участием самого Галича, питомца германских мудролюбов, предоброго Галича, президента дружеских пирушек.

Жестоко достается бедному Виле Кюхельбекеру. Пушкин, хоть и друг, а изводит его эпиграммами. Сын директора, дурашливый Малиновский, прозванный «казаком» (за лихость и пылкость нрава), за обедом вылил ему на голову тарелку супа. Виля, выведенный из терпения, бросился в пруд Александровского парка и чуть не утонул. Одна его отрада — поэзия... Учится он отменно, но «оказывает много легкомыслия и подвержен крайностям».

Уже по выходе из Лицея вспыхивает ссора и происходит (?) дуэль между Кюх-

лей и Пушкиным из-за эпиграммы: «так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно...».

В классах — радости мало, но у Кошанского занятно, — бывают иногда «пробы пера»:

«Господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами».

Сверчок мигом набрасывает:

«Где наша роза, друзья мои?
Увяла роза, дитя зари!
Не говори: так вянет младость,
Не говори: вот жизни радость!
Цветку скажи: прости, жалею,
И на лилею нам укажи».



Лучшее время — после ужина. Хорошо сумерничать летним предвечерьем; у открытого окна, с книгой в руках — Пушкин и Пущин. Из парка доносится медвяный запах липового цвета. Вот прокатила карета императрицы-матери: она возвращается во дворец с прогулки. Как изваяния — кучер и лакей на запятках. Сытые, сильные кони бегут солидной, неторопливой, «царственной» рысью.

Под благовест колоколов расходится народ из церкви Знаменья. Пахнет ладаном, грустью, чем-то еще — похожим на влюбленность...

Вот старушка и молодая женщина вышли из храма, горячо о чем-то спорят. — «Посмотри на них, Пушкин, о чем они так спорят, идя от молитвы?» Пушкин рассеянно смотрит в окно: «Кто, вот эти? Поди, грехи перебирают, корят друг друга. Ужели нельзя зараз служить и Саваофу, и Афродите?»

И тотчас рождается крылатая эпиграмма-диалог:

«Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь . . . . . . . . . . . когда...
Ты с крестником Ванюшею шалила?..»
— «Молчи, кума: и ты, как я, грешна,
Словами всякого, пожалуй, разобидишь.
В чужой п.... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».



Эпиграмма прочитана Пущину, но подходит Кайданов, берет сатирика за ухо: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией...»

Впрочем, что с него взять, с этого веселого шалопая, гениального проказника...

Урок математики Карцова: «Пушкин, вот вам задача». Через полчаса: «Что

же вышло? Чему равняется икс?» — «Нулю...» — «Хорошо. У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи».

«В поведении резв», «весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен...» И все-таки он — первый лицейский мудрец в «Лицейском Мудреце».

Наступает 8 января 1815 г.: лицейский акт, «Воспоминания в Царском Селе», похвала Державина. Как прощальный привет отошедшему веку звучат эти строки о «храме русской Минервы» и о «седых валах» на безмятежном царскосельском озере. Милая, дряхлая бутафория... С какою нежностью и грустью вспоминает поэт спустя десятилетие о лицейских годах:

«С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали...»

Разве не пробегает по спине холодок, разве не кружится голова, когда чита-

ешь строки, вырезанные на цоколе его памятника:

«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных
муз».

Пушкин — первая и глубочайшая загадка Царского Села и одна из самых пленительных загадок нашей истории. Вокруг и около него цвело и старело спокойное барство. Он задыхался в лирическом бреду, а рядом, в Китайской деревне, подремывал Николай Михайлович Карамзин со своими «рюматизмами», и неспешные его раздумья сбегали плавными, певучими линиями, как легкие ручки ампирных кресел. В кабинете полумрак, мерно постукивают старинные английские часы, свечи под зеленым абажуром оплывают, казачок снимает щипцами нагар. Пахнет нюхательным табаком, свежим полотняным бельем, пачулями. Шелестят страницы «Истории Государства Российского»...



В осеннем парке багрецом и охрою тронуты кущи. Василий Андреевич Жуковский, моциона ради, шагает по длинной, безлюдной аллее. Весь округленный, мягкий, мечтательный, он нежит в лучах заката свою меланхолию. Подойдет к берегу, пошарит в карманах, крошки от печенья кидает лебедям.

«Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожат плаваньем, плесканьем...»

В Александровском парке, около дворца на пруду, — «детский остров», любимое место поэта. Здесь «плотик с перилами», «сплела здесь роща своды, в тени их тишина, кругом покойны воды, прозрачные до дна».

Тонкое зрение поэтическое, превосходное зрение у Василия Андреевича: видит он гениев крылатых, что «при луне играют и плещутся в волне...». И тихо улыбается, жмурится от удовольствия...

Неспешен променад почтенного холостяка. Ему еще далеко до старости, но он уже стареет; еще не полнолуние

являет его голова, но уже ущербную Селену. Он нежен, но трезв; если и кружится когда голова, то разве — при мысли о Машеньке Протасовой.



Всему свое время: он гуляет не дольше, чем нужно для того, чтобы деликатный пюргатив успел оказать свое действие после прогулки.

«Жуковского слабит стихами», — сказал о нем кн. П. А. Вяземский (письмо Тургеневу, 1819). «Ему необходимо нужно отказаться от вечерних прогулок, — замечает Тургенев (письмо Вяземскому, 1819), — которые отнимают у него последний досуг, ибо поутру он за грамматикой, потом за обедом, а через час должен являться на линейку и говорить о луне с ее величеством...»

Но все прекрасно, когда душа наша пребывает в своем натуральном расположении, в спокойные медитации погруженная. Без медитации нельзя быть чувствительным, нельзя вообразить великие идеи, вроде бессмертия. Смотрит Василий Андреевич на небо и воображает бессмертие. «Как тот счастлив, кто всегда имеет перед собою сию великую идею... Сия уверенность в тленности земных вещей не есть ли тайное, врожденное в человеке доказательство бессмертия?..»

Однако становится прохладно, пора домой, пора, но лень пошевелиться, лень встать со скамейки. «Я очень медлите-

лен. Этот порок может лишить меня всякого счастия в жизни...»

Возвращается к себе, садится за крытый зеленым сукном стол, обмакивает гусиное перо в бронзовую чернильницу с Амуром и Психеей. И задумывается над дневником...

На прекрасное верже, облаченное в голубой марокен, ложится ровный бисер глубоких поучений pro domo sua. «Рассмотреть свою прошедшую жизнь; разобрать свой собственный характер и характер некоторых знакомых. Привести в порядок свою моральную систему». «Что я должен иметь необходимое для своего счастия. Как вояжировать и что делать, если не поеду вояжировать».

Иной раз заходит с прогулки к Николаю Михайловичу, на чашку чая. Здесь — Александр Тургенев, Батюшков, П. А. Вяземский. Бывают гусары — Каверин, Чаадаев; забегает Пушкин, — Николай Михайлович подставляет ему отменно выбритую щеку.

Иное — в лицейском кругу. Там — «игры Вакха и Киприды», — «шипенье



пенистых бокалов и пунша пламень голубой». Круглый стол и клубы дыма... Клятвы в дружбе, остроты и смех.

Здесь литературу чувствуют, как погоду, стихами горят, как эти пуншевые огоньки. Хрипнут голоса в споре, но прополоснутые холодной водой кастальского ключа — свежеют вновь. Слегка горчит барковским сальцем аттическая соль лицейских бесед, но все искупает пляска ямбов, улыбка Делии или Адели и крепкий поцелуй в губы, омытые влагой вдовы Клико.

Скинув шубу, вошел кто-то новый с морозу, кажется — Дельвиг, и хор возгласов — ему навстречу.

Дельвиг сбрасывает шинель; на полном, бледном, флегматичном его лице расплывается улыбка. Огни кенкетов играют на стеклах его очков. «Сын лени вдохновенный» извлекает из кармана рукопись: — «Друзья, я принес вам новую свою пиесу, — конечно, далеко мне до Сверчка, но, все же, кажется, недурно». — «Читай же, читай! О чем? Элегия, идиллия, сонет?»

— «Ни то, другое, ни третье. Песня, друзья мои, прощальная песнь лицеистов. Помните, которую собирался написать Сверчок, да так и не собрался. Близок выпускной акт, нас ждет разлука, — пусть же каждый унесет с собою слова прощальной песни:

«Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!»

Кто-то садится за клавесин, и под хрустальный рокот тут же изобретенного аккомпанемента, лицеисты подхватывают:

«Простимся, братья! руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку
Быть может, породнила нас!..»

Ergo, bibamus!—Нет, не на вечную разлуку... Восемь лет спустя, воспетый Дельвигом «лебедь цветущей Авзонии, осененный и миртом, и лаврами», про-

пел в печальном одиночестве «осеннюю песнь», отвергая власть разлуки, о которой грустил «вещун пермесских дев»:

«Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село».

Бог знает, что день грядущий нам готовит, — верней всего — готовит труд и горе. Но сейчас — как упоительна жизнь! Как хорошо в этом тесном уголке «вкруг бокалов пуншевых», в дыму «трубок грошовых»!.. Блужданья по парку, игра в мяч на Розовом Поле, где, оставя класс, резвятся лицеисты и тешатся «отважною борьбой». Одинокие прогулки Пушкина «под липовые сени», к «злачным берегам», где раскрывается голубой простор, где «в тихом озере, средь блещущих зыбей» красуется «станица гордая спокойных лебедей»... Мечтательные часы на Бельведере или на Капризе: это ее, китайскую беседку, назвал поэт «пустынным приютом любви»:

«Здесь ею счастлив был я раз,
В восторге пламенном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту...»

Вечером у дворцовой гауптвахты — полковая музыка, гулянье. Разумеется, здесь и «l'inévitable Lycée». По дороге на музыку (через дворцовый коридор) случайные и тем более волнующие в полумраке встречи — то с фрейлиной, то с горничной. Но — коварная темнота! — неистовый Сверчок бросается целовать старую деву Волконскую, приняв ее за «прехорошенькую» горничную Наташу. Quel horreur! Объяснение «Благословенного» с Энгельгардтом: «La vielle est peut être enchantée de la mèprise du jeune homme, entre nous soit dit».

Зимой — поездки на тройках за город, с дамами, с семьей директора. Дамское общество — источник «платонизма в чувствах», скучно без дам бродить по зимнему парку. Придут или не придут? Не придут —

«И останешься с вопросом
На берегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?»

Волнующие встречи с «миловидной жрицей Тальи» — актрисой Наташей, с Катей Бакуниной, с madame Смит.

9 июня 1816 г. — выпускной акт; присутствуют — лысеющий и глуховатый самодержец, министр просвещения Голицын, местный цвет общества. Отеческие наставления воспитанникам, «монаршая благодарность» директору, всему штату; хор лицеистов — прощальная песнь Дельвига — оглашает актовый зал. Дирижирует хором Теппер. Милый Теппер! Жаль расставаться с Энгельгардтом, жаль с Куницыным («Куницыну — дань сердца и вина, он создал нас, он воспитал наш пламень»), но и Теппера жаль покидать: как забыть вечерние чаепития, литературные состязания в маленьком домике с мезонином, что на углу Средней и Церковной, в том домике, где экспромтом возникли фран-

цузские «куплеты» Пушкина (и где спустя сто лет прозвучали иные куплеты — песни пьяного тобольского мужика, услаждающего «Аннушку», а еще спустя десяток лет — раздалась песнь несравненного Зигфрида-Ершова)...

Сборы к отъезду. В дортуарах — все вверх дном, везде валяются чемоданы, платья, вещи, — «пахнет отъездом»... Кто-то заколачивает ящик, и жутко звучит стук молотка: словно гроб забивают, словно молодость умерла...

Шесть с половиной лет Лицея (1811—17 гг.) — позади. Как волей Флоры нарушены геометрические очертания елизаветинских боскетов, так волею Феба набухает и зреет новый мир поэзии, столь не похожий на фривольный мирок поклонников Парни...

Часто посещает Царское Село А. И. Тургенев, — особенно часто в эпоху «Арзамаса». 17 авг. 1817 г. Тургенев пишет Вяземскому: «Вместе с двумя Арзамасцами ездил я на поклонение к новорожденному Арзамасцу Николаю в город Сарское Село и там виделся и говорил

с Новосильцевым, душой Арзамасцем, об Асмодее». 25 августа: «Мы ездили с Батюшковым и Жуковским вместе в Сарское Село». 23 июля 1818 г.: «Был у Карамзиных в Сарском Селе, где более нежели когда-либо движения, то есть ажитации, начиная от фрейлин и генерал-адъютантов до истопников».

4 сент. 1818 г.: «Ездил к животворящему источнику, т. е. к Карамзиным в Царское Село», где «долго и сильно доносил на Пушкина», который по ночам не спит и «целый день делает визиты б.....».

25 сент.: «Жуковский, Пушкин, брат и я ездили пить чай в Сарское Село, и историограф прочел нам прекрасную речь».

20 ноября 1818 г.: «Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал imprоptu, которого послать нельзя...»

11 июня 1818 г. о Царском Селе: «Тошно с покойным сердцем смотреть на вечные ажитации тамошних жителей».

Снова «донос» на Пушкина: «Пушкин простудился, дожидаясь у дверей одной б...., которая не пускала в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба великодушия, любви и разврата!»

5 авг. 1819 г.: «Я прожил два дня в Царском Селе и Павловске с Карамзиными, Жуковским... Я люблю Царское Село в отсутствие хозяев: прелести его те же, ажитации меньше; гуляют, не оглядываясь, и слушают того, кто говорит, без рассеяния. Все в порядке, и все на месте, и никто не приносит себя в жертву genio loci. Так сделано посвящение дернового памятника, украшенного бюстом государя в лицейском (будущем) саду... Вообрази себе двенадцатилетнего юношу, который шесть лет живет в виду дворца и в соседстве с гусарами, и после обвиняй Пушкина за его «Оду на свободу» и за две болезни не русского имени. Возвратимся

к царскосельским мудрецам: они блаженствуют, потому что живут с собой и заглядывают во дворец только для того, чтобы получать там дань непритворного уважения с одной стороны и, вероятно, зависти — с другой. Вот тебе письмо от них. Жуковский радуется обхождению государыни с ним, ибо оно сердечное и искренное. Пудра не запылила души его, и деятельность его, кажется, начинает воскресать. Посылаю болтовню о луне и солнце».

19 авг. 1819 г.: «Ввечеру, в Царском Селе, живущие там генерал-адъютанты, граф Кочубей и другие, дали прекрасный бал, к которому была приглашена павловская и царскосельская публика и я, как амфибий...»

Любит Александр Иванович поужинать с гусарами, с цыганским хором. В серебряных ведрах — славное творение Moet et Chandon; батарея превосходнейших вин — ждет и манит...

Высокие сорты Рейнвейна, — чисто и ясно, прохладительно и ласково нисходит ваша струя в жаждущую внутренность;

горячее бургонское напояет поэтическую душу, как внезапный восторг, круто и кроваво. А веселый гроздий бордовский, красноречие возбуждающий? А крепительная Малага, пламенные вины Валенсии, горячительный Херес? А бла-



городное Капское, а трогательное Монте-Пульчиано или замысловатое Монте-Фиасконе? И, наконец, ты, цвет и краса всех винных спиртоватостей — царь между винами, розовое Алеатико, аромат и сласть, огонь и кротость вместе!

Сколь дивно мягчишь ты грудь и сколь приятные производишь мысли...

«Освещение китайской ротонды снаружи и внутри было прелестное, угощение также, и шампанское лилось». В эту же пору «явился обритый Пушкин из деревни и с шестою песнью». — «Пришли мне своего «Депрео», — пишет Тургенев Вяземскому, — я поеду читать его в Царском Селе и себе, и тамошним, ибо я нигде столько и так охотно не читаю и не думаю, как на дороге туда и в садах, там у меня и голова свежее, и сердце спокойнее».

26 авг.: «Из Царского Села свез я ночью в Павловское Пушкина. Мы разбудили Жуковского, Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра. Потом принялись мы читать новую литургию Жуковского».

«Дорогой из Царского Села в Павловск писал он (Пушкин) послание о Жуковском к Павловским фрейлинам, но еще не кончил. Что из этой головы лезет. Жаль, если он ее не сносит. Он читал

нам пятую песню своей поэмы, в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый».

Жизнь не всегда весела, как «собачья комедия», и самые милые люди не всегда привлекательны. С годами омрачается ясный лик Пушкина. В 1825 г. Тургенев пишет Вяземскому: «Похвалив талант Пушкина, я не меньше, особливо с некоторого времени, чувствую омерзение к лицу его. В нем нет никакого благородства. По душе он для меня хуже Булгарина...»

В 1830 г. появляется миниатюрный альманах «Царское Село», изданный Н. Коншиным и бар. Розеном. Литографический фронтиспис его изображает славную Орловскую колонну; перед ним портрет Дельвига. В повести Коншина «Остров на садовом озере» поэтически живописуется вечерняя красота Екатерининского парка, затем действие переносится в Польшу, оттуда снова возвращается в Царское Село, на остров большого пруда, где происходит объяснение

в любви, преисполненное трагических чувств.

Литографии Лангера и Мартынова, офорты Жуковского — вот оно, Царское Село той эпохи.

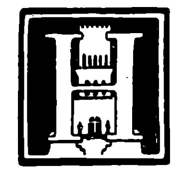




## 3.

Сады прекрасные, под сумрак
ваш священный
Вхожу с поникшею главой!

*А. Пушкин*



аступают годы для Пушкина скитальчества и бурь, горькие, пыльные, „дарвалдайные“ плетутся дни: несносные «перекладные», салоны Петербурга и Москвы, глушь Михайловского, «пламенная Колхида» и снова Петербург.

Гомерические прогулки пешком в Царское Село: стакан вина на Средней

Рогатке, блуждание по парку, обед в трактире и тем же путем назад.



Потом Болдино, летом 1831 г. Москва и снова — «хранительные сени» Царского Села; дом Китаева, невольный

карантин «без экипажа и пирожного», свидания с Гоголем, стихотворные состязания с Жуковским и, как неотвязные мухи, — кредиторы и критики.

Работа над окончанием «Онегина» и «Повестей Белкина», ряд сказок и стихотворений.

Гоголь приходит в Царское из Павловска, где служит репетитором в княжеском доме. О его «Вечерах близ Диканьки» много говорят. — «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности».

Редеет круг приятелей Пушкина... «Иных уж нет, а те — далече..» В 26-ом году отошел в Елисейские поля Карамзин,—осиротел кавалерийский домик, что на углу Леонтьевской и Садовой; 14 января 31-го года не стало Дельвига, милого Дельвига, с которым в лицейские годы читал Пушкин Державина и Жуковского, с которым «толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит». Не стало того Дельвига, для которого Царское Село было местом «святого

уединения», «сладкой тишины», который тосковал в чопорном Петербурге:

«Не мило мне на новоселье,
Здесь все увяло, там цвело.
Одно и есть мое веселье —
Увидеть Царское Село!»

Вольнолюбивый Кюхля, он же Ленский, «Клит», «Анахарсис»-Кюхля — в изгнании, в ссылке, измученный и больной, записывает в свой дневник 4 августа 1833 г.: «Свиньина «Описание Царского Села» перенесло меня на несколько минут в мирное это убежище моих отроческих лет...» 19 октября 1838 г.* он вспоминает лицейские дни, милое прошлое. Умер Пушкин

«В средине поприща побед и славы...
. . . . . . . . . . . .
А я один средь чуждых мне людей,
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,

* 1837 г. (прим. ред.).

Над мрачным гробом всех моих друзей,
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...»



26 мая 1839 г. он заносит в свой дневник:

«Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я лю-

бил, теперь покойны. Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг — умный, веселый, рожденный, кажется, для счастья, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце; прекрасный мой юноша, Николай Глинка, который был бы великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине, и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным. И почти все они погибли насильственною смертью, а смерть Дельвига, смерть от тоски и грусти, чуть ли еще не хуже...»

«Вялых дней безжизненная нить» еще тянется, отягченная чахоткой и слепотой. 11 августа 1846 г. смерть уносит и страдальца Кюхельбекера.

Напротив дома Китаева — на другом углу — белый дом А. Н. Оленина — президента Академии Художеств. Алексей Николаевич делит свои досуги между Приютиным и Царским. У него любят

собираться люди искусства и науки. Он слывет ученым и общественником, — недаром сострил А. А. Нарышкин: «Оленин — член всех ученых обществ, только не архимандрит Александро-Невской Лавры». Сам Алексей Гумбольд, побывав у Оленина, изрек: «Я объехал оба земные полушария и везде должен был только говорить, а здесь с удовольствием слушал».

Впрочем, в письме Тургенева к кн. П. А. Вяземскому 26 1823 г.* есть убийственная фраза: «Cet Olénine est un petit monstre de sottise».

Вяземский об Оленине: «Рассмешил он меня... своим «поколенным портретом», написанным Варнеком. То-то, видно, ленивый живописец: не много стоило бы труда написать его во весь рост».

На вечерах у Оленина — Пушкин, Гнедич, Жуковский, Карл Брюллов. За обедом каждодневно — Иван Андреевич Крылов. Он и хозяин дома — закадычные друзья, прекрасная пара. Оленин — малюсенький, с огромным орлиным но-

* Так у Э. Голлербаха (прим. ред.).

сом, в синем виц-мундире, похожий на игрушку «casse-noisette».

Крылов — коренастый, широкоплечий, заплывший складками жира, в засаленном сюртуке. Madame Оленина, Елизавета Марковна, в который раз журит его: «Иван Андреич, побойтесь бога, ведь из вашего сюртука щи варить можно». Кроткий ответ, с затаенным зевком: «Ничего, матушка, еще послужит... Мне, чай, не осьмнадцать лет, не к лицу мне щегольство...» У Оленина — другая забота: «Иван Андреич, когда же вернете мне Шатобриана? Нехорошо, друг мой: всегда так — возьмете книгу и непременно затаскаете». — «Господь с вами, Алексей Николаич, на что мне ваша книга? Вот, ужо, соберусь и привезу. Над нами не каплет...»

Пушкин бывает в царскосельском доме Олениных по старой памяти; когда-то был влюблен в Анну Алексеевну и даже сватался. Старик не прочь бы отдать руку дочери поэту, да Елизавета Марковна — на дыбы...

Все же «старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей,

чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов; но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха». «Ты говоришь, что ты бесприютен,—иронизирует по этому поводу П. А. Вяземский (18 сент. 1828 г.), — разве уже тебя не пускают в Приютино?»

Недаром же луна светила с левой стороны, когда подъезжал Александр Сергеевич к дому Олениных в Приютине. Теперь, уже связав себя узами Гименея, поэт все же по привычке не забывает радушную семью, заходит один, экспромтом, любуется «детской простотой» и «томным выражением» девичьих глаз. Президент — в Петербурге, по делам Академии, Елизавета Марковна — в цветнике, лелеет изумительные розы «Поцелуй Амура»; Пушкин и Анна Алексеевна проводят

полчаса tête-a-tête, охваченные токами безмолвных и нежных воспоминаний.

«Я вас любил: любовь еще,
быть может,
В душе моей угасла не совсем...»

В часы, когда в парке играет оркестр лейб-гусар, Пушкин прогуливается с молодою женою или с друзьями — Жуковским, Крыловым, Гнедичем. Торжественный Гнедич, рябой «циклоп в жабо», скандирует здесь гекзаметры Гомера, Пушкину слышится в них «умолкнувший звук божественной эллинской речи», и безмятежная гладь озера превращается в глубокодонную пучину Понта Евксинского, над которой несутся, как белокрылые виденья, тугие паруса Одиссеева корабля.

Лениво переступая слоновьими ногами, опираясь на палку, шествует Крылов и хрипловатым, жирным голосом читает новую свою басню, перебивая эллинские ритмы ядреным русским словцом. Так, вчетвером, изобразил их Чернецов — в Летнем саду.



По утрам Пушкина частенько навещает А. О. Россет, — «придворных витязей гроза», черноокая «дева-роза», «придворная Sevigné», обворожительница. В простой комнате, без гардин — невыносимая жара; на столе — графин с водою, лед, банка с крыжовниковым вареньем,

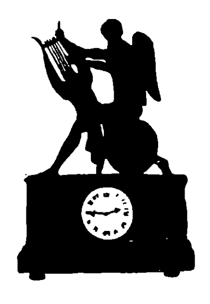


чернильница, перья, бумага. Пушкин — в сюртуке, без галстука, с еще мокрыми от утренней ванны волосами, роется в книгах, лежащих на полу, на диване, на полках, шутит с «южной ласточкой». А то отправляются на дрожках за город.

В 7 часов — ответный визит: Пушкин и Жуковский у Россет, слушают

вальс Вебера, пишут экспромты-«галиматью».

Жизнь Пушкина уже клонится к нежданно-раннему концу. Надвигается предгрозовая туча, но сколько еще без-



облачных радостей: дивные плечи Наталии Николаевны, и «ножка Терпсихоры», и синие книжки Монтэня, и маленькие альманахи, в которых так четки, так незабываемы короткие строки стихов... Часы раздумий в парке, на чугунной скамье.

Тенью промелькнул здесь Лермонтов, ни слова не сказав о городе, где донимали его эскадронные учения и байроническая тоска. Жил он постоянно в Петербурге, а в Царское Село, где стояли гусары, приезжал на ученья и дежурства.

Однажды, летним вечером, — «сентиментальное путешествие из Царского в Петергоф»:

«Садится солнце за горой.
Туман дымится над болотом,
И вот, дорогой столбовой,
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника» —

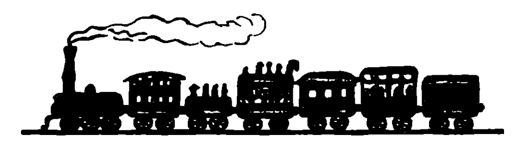
Лермонтов и А. А. Столыпин...

— «Тридцатые годы» — когда они кончились? Не в тридцать ли седьмом году, в тот день, когда прогремел выстрел Дантеса, — или несколькими днями позже, — 29 января, когда стрелки томировских часов на камине показывали три четверти третьего часа...

Не стало Пушкина, но тень его, мученическим венцом освященная, как будто еще преследовала старых и новых со-

перников-самозванцев, с усилием влачившихся на поприще его славы.

Год смерти Пушкина совпадает с годом рождения российской «железнодорожной музы» (если возможна такая): курьезный, неуклюжий поезд впервые пробежал расстояние между Петербургом, Царским и Павловском. — «Вот



идет п а р о в о з (словечко, изобретенное Н. И. Гречем), с трубою, из которой валит дым; машина тащит за собою несколько повозок, в которых помещается более 300 человек, сила равна силе 40 лошадей; в один час она пробегает пространство в 30 верст... К машине приделана труба другого рода; в нее, в продолжение пути, кондуктор трубит, остерегая зрителей. Длинная вереница экипа-

жей прилажена к паровозу: вот огромный дилижанс, вот берлины, шарабаны, широкие крытые повозки с шестью рядами скамеек, на пять человек каждая; вагоны, повозки, открытые для помещения такого же числа пассажиров; вот огромные фуры и телеги для разной клади; вот род роспусков для перевозки животных... вот чаны для разных жидкостей, буфеты для съестных припасов. Сядем в один из экипажей. Знак подан. Музыка заиграла, дым повалил из чугунной трубы паровоза; деревья, дома, речка промелькнули и убежали назад... Посмотрите на колеса наших экипажей: средняя часть, или внутренность, состоит из чугуна, а наружность выкована из железа, чтоб они при быстрой езде не лопнули».

Полюбуемся и на вокзал: «Он деревянный, щегольской архитектуры; окружен клумбами благоухающих цветов и эспланадами, покрытыми красным песком. Здесь можно найти обширные залы для прогулки, вкусный обед, блестящее, приятное общество». Таков этот вокзал «самой приятной наружности». За удоволь-

ствие проехаться в Царское Село «в карете первого рода» уплатите 2 р. 50 к. ассигнациями, и вы получите медную бляху — билет, который в Царском у вас отберут. Восторженный Виктор Бурьянов просто слов не находит, чтобы выразить обуревающие его сантименты: «Это, право, что-то похожее на чародейство! Слышите ли оглушительный, дикий рев огненного коня, застилающего путь густою пеною? Нельзя себе представить ничего величественнее этой силы, непреодолимой и вместе с тем послушной, которая несется быстрее ветра. На первом шагу радостный крик вырывается из гордой пасти могущественного паровоза, но вскоре он усмиряется, бежит ровно. С трудом следите за дымом, мелькающим перед глазами на мгновение. Сидящие в экипажах не чувствуют никакого движения: все летит вместе с ними; ветер хлещет крыльями по лицу и освежает горящее чело; сердце бьется медленнее: по железной дороге не едешь, а скользишь, и приедешь, когда кажется, еще не уезжал. Когда экипаж подъезжает

к своему назначению, то паровоз громко заворчит, это значит, что поездка совершена».

Не улыбайтесь, любезный читатель: разве не в том же стиле пишутся в наши дни хвалы аэроплану, и разве через сто лет наши потомки не будут улыбаться, читая гимны современных Бурьяновых?..



— Лето 1842 г. На улицах Царского Села можно встретить изящный экипаж с развалившимся в нем высоким франтом в синем фраке с золотыми пуговицами, в светлых клетчатых панталонах, в огромном цилиндре. Густые кудри острижены «под гребенку», бородка лопаточкой, в глазу — монокль, только что вошедший

в моду. Это — сиятельный автор «Истории двух калош». Поездки в Царское вдохновили его на рассказ «Приключение на железной дороге», что напечатан в «Утренней заре» 1842 года. В Царском «ужасно скучно», но «гулянья' прекрасные». У Соллогуба бывают Тургенев, Панаев, Языков — павловские дачники. Приезжает Огарев, и вечера пролетают в дружеской беседе, за чаркой огненной жженки. После концерта в Павловске — проводы Соллогуба в Царское. «Мы влезли к нему в кабинет через окно, посидели у него с полчаса и отправились встречать утро в Царскосельский сад и умываться к «Молочнице» (Панаев).

Всем бы хорош Соллогуб, да больно важен, сановит. И слова-то растягивает, и гримасы корчит, и дым колечком пускает, и стеклышком щеголяет. Огарев вздыхает: «Соллогуб, может быть, очень хороший человек, но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею...»

— Десяток лет, другой, и на чугунный узор замшелой скамьи лег мягкий клет-

чатый плед. Ленивый ветер с озера, прошелестев в листве столетних лип, шевелит редкие седые волосы старого дипломата. Полюбились ему в дремотном этом парке — белокрылые виденья на тусклом стекле озера, сумрачные тени вечера на каменных ступенях дворцов, и, может быть, вся эта «нега онеменья» примиряла его мысль с «всепоглощающей бездной», на дне которой шевелится Хаос.

В эпоху Пушкина Царское Село — колыбель поэзии, — после пушкинской эпохи оно становится богадельней поэзии: поэты не начинают здесь жизнь, а кончают ее. Здесь, если не смерть, то закат Тютчева, Вяземского; позднее — ранний закат Анненского. Здесь в 1848 г. был погребен на казанском кладбище автор «Истории философских систем» — Галич.

П. А. Вяземский — живет поочередно в Петербурге, Остафьеве, Царском, за границей. Он изредка наезжает в Царское Село, — читаем в его записной книжке 31 мая 1830 г.: «Ездил в Царское Село, обедал у Жуковского. Царское Село — мир воспоминаний. Китайские до-

мики: развалины»; иногда живет здесь подолгу. Дождливой осенью 1825 г. горько жалуется Вяземский на царскосельскую погоду: «Что там за холод, что за сырость. Какая тряпка небо, это затасканные и за..... портки, которые выжимают над нами».

Под старость Вяземский — «звезда разрозненной плеяды» — вновь поселяется на некоторое время в Царском. Здесь у него бывает Ф. И. Тютчев, навещает его почтенный цензор А. В. Никитенко. 29 октября 1865 г. Никитенко заносит в свой дневник: «Обедал у князя П. А. Вяземского в Царском Селе. Мы отправились туда вместе с Ф. И. Тютчевым. Там видел я и дочь его, невесту Аксакова, Анну Федоровну. Она немолода, но, говорят, очень умна. Вечером пришла вторая дочь Федора Ивановича... Сегодня разговор у князя вертелся на современных происшествиях: как офицеры чуть не побили одну даму в театре, как на театре у нас представляют чёрт знает какие безобразия, как какого-то Бибикова отдали под суд за книгу, в которой он

доказывает превосходство полигамии над единобрачием — все материи важные и привлекательные. Да и о чем же говорить в наше время? После обеда Тютчев отправился к своим дочерям, а я еще посидел немного и побрел на железную дорогу. Но дурно рассчитал время, и мне пришлось битых три часа провести в ресторане железнодорожной станции в приятном обществе двух маркеров, которые забавлялись, катая шары на бильярде. Впрочем, в зале было чисто, и мне подали стакан очень порядочного чаю».

Тусклое, сумеречное время. Геморроидальные настроения, слегка подогретые «скандалом в театре» и «стаканом очень порядочного чаю». А на другой день в дневнике Никитенко еще один образчик «важных и привлекательных материй»: «Вчера у кн. П. А. Вяземского мне сказали, что в Царском Селе один человек умер от холеры».

Короткое время жил здесь А. К. Толстой, поступивший добровольцем в лейбгвардии стрелковый полк, чтобы сра-

жаться с врагами славян. Был у него денщик Козьма, по фамилии Прутков, детина глупости необыкновенной, с философскими наклонностями: оный Козьма и был, фигурально выражаясь, тем яйцом, из коего вылупился, при содействии А. М. Жемчужникова, небезызвестный Козьма Петрович Прутков, директор Пробирной Палатки, ордена св. Станислава 1-ой степени кавалер и литератор.

— Начинается эпоха гражданских мотивов. Поэты забывают об отечестве поэтов.

И наступает отлет муз куда-то вдаль, неведомо куда, но прочь от парков Екатерины.

Куда же деваться им? И слушали, бедные, «по долгу службы», однообразные всхлипывания Надсона, утешавшего «усталого брата».

Но как-то стороной пролетели они мимо этой эпохи, понимавшей вдохновение как длинные волосы и глаза, устремленные к небу, — эпохи, похожей на скучный семейный альбом с фотографиями, где одинаково благообразны и Майков, и Пле-

щеев, и Голенищев-Кутузов, и даже Мей. В стороне, еще не оцененный (подобно Тютчеву), стоял Фет.

Только сладкогласный Фофанов занес в свой поэтический дневник «Думу о Царском Селе» воспоминание о жизни в городе муз,

«Где веет все давно забытым сном
И шепчутся деревья о былом...»

«Угрюмый мечтатель» пленен меланхоличностью задумчивых парков, их «спокойно-важным шумом», аллеями благоуханных лип. Влечет его и печальный лик Перетты, чью скорбь воспел «наш гений вдохновенный, другим певцам оставив бренный свет», и памятник в лицейском саду, и тени других поэтов, чьи «славные могилы на земле, как звезды в небе, светят нам во мгле».

Случайный гость, приезжий на краткий срок забрел в урочище славных теней странный человек, с громадными серыми глазами, с пепельными космами волос. Чувственные губы большого рта шепчут о нездешнем; бессильные, длин-



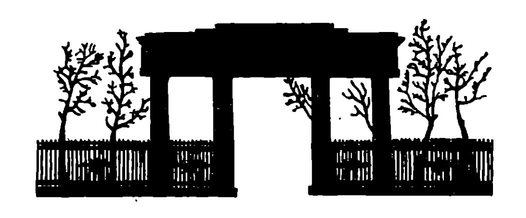
ные руки запахивают полы крылатки, взметаемой свежим ветром. В закат устремленные взоры лучатся светом откровения. Сутулый фантом, высокий, словно на ходулях, проходит куда-то вдаль и вновь воскресает из дали, с заоблачной выси — к себе спускается, в кабинет свой на Церковной, в доме Мердера, и черная с проседью борода осеняет ворох бумаги, скрипит в ночи перо и растет, лист за листом, объемистая рукопись «Оправдания добра».

В том же девяносто пятом году родился, недалеко от кельи Соловьева, некто, возлюбивший образ философа, стихи его, и потом, через Блока и Белого, еще больше познавший свое родство с тем призраком осенним, тающим в сумерках парка.

Смертью Соловьева (1900) завершился для России XIX век, как завершился он для Запада смертью Ницше.

Зарождение декадентства, преодоленного затем символизмом, было мостом к новому столетию.





## 4.

Казармы, парки и дворцы...
*О. Мандельштам*

И жалок голос одинокой
музы,
Последней—Царского Села.
*Н. Гумилев*




евятисотые годы в Царском Селе: гремят музыкой парады, сверкают оружием гвардейские полки, размеренная длится в деревянных особняках жизнь. Английские мисс и немецкие бонны водят благовоспитанных мальчиков и девочек в парк. На пуза-

тых шлюпках кружат их по озеру бравые матросы. Лебеди белые бороздят голубое зеркало прудов. И черные лебеди скорбными кликами оглашают глушь парка.

Откормленные рысаки, короткохвостые, мчат к вокзалу широкие кареты. Ливрейные лакеи распахивают дверцы, высаживают едва живых старух, берут им билет. В сиреневых шинелях, волоча палаши и звякая шпорами, гвардейцы улыбаются дамам и дамы — гвардейцам. «Cher prince, vous nous avez oubliées...» — «O non, jamais de ma vie, comtesse...»

Блеск подведенных глаз под мелкою вуалью, узкая рука в лайке, искры брильянтов над соболями, огонек сигары, «струя резеды в темном вагоне».

Около дворца — день за днем маячат безликие штатские. Котелок, затылок, бархатный воротник пальто, а заглянешь под котелок — лица-то и нет. С беспечно-рассеянным видом шагают котелки взад и вперед. И как ватные чучела, нестрашные серые пугала, торчат у дворца брюхатые дворцовые городовые. На гор-

боносых конях, поджарых и стройных, плетутся вдоль ограды синие конвойцы в папахах, заломленных назад. Мурлыкает конвоец чуть слышно песню заунывную, вытянет нагайкой коня от скуки, запляшет конь, заартачится. Там, подальше, гарцует второй, за ним третий, целая цепь.

В подъездах дворцовых флигелей слоняются лакеи, в будни — голубовато-серые, в праздники — желто-красные, как питерский трам.

«Э-эй, па-ади!..» — и, черным лаком сверкая на солнце, прошелестит карета. Глухо цокают по мягкому грунту копыта, желто-красные ливреи развеваются, пылают, как плащ Мефистофеля; лихо набекрень сдвинуты треуголки. Бледное, скучающее лицо мелькнет за стеклом зеркальным и — спрячется. Часовой берет на караул, вытягивается брюхатое чучело, подозрительные штатские обнажают безликие головы. И снова тишина, дремота. Зевают ватные брюхачи, прикрывая рот белой перчаткой. Котелки продолжают свою прогулку: встречаясь

друг с другом, довольно покашливают (грипп хронический от прогулок): «Кхе, погодка благодать». — «Да, слава богу, кхе, жаловаться нельзя», и — дальше, по Дворцовой, по Садовой ползут медлительно, черные и круглые, как сытые клопы.

На убогом «ваньке» торопится на дежурство флигель-адъютант, «морозной пылью серебрится его бобровый воротник», голова под белым барашком трещит от вчерашней попойки.

А царскосельские гасары? Помните ли вы царскосельских гусар? Жаль мне вас, коли не помните... Посмотришь на такого молодца, когда проносится он, как вихрь какой, на белом коне по плац-параду (сподобит же господь!) или так, стоит, ожидаючи, на вокзале, слегка эдак покачивается на кривоватых лакированных ножках, на саблю для устойчивости опирается, и сам чёрт ему не брат, — ну, загляденье, глаз не отведешь, все отдай, да мало! Недаром Козьма Петрович, покойник, завидовал: «Если хочешь, — говорил, — быть красивым, поступи в гусары...»

Обывательские «сливки» тех лет: аристократия родовая — Путятины, Стенбок-Ферморы, Остен-Сакены, Гудовичи, Плаутины, Раевские и, вообще, «смотри книгу шестую», и денежная — Вавель-



берги отец и сын, миллионер Кокорев, заживо гнивший в роскошном своем особняке, Утеман, Кетниц. В центре всего у первой — двор, дворцовая жизнь и «что пишет управляющий имением», у второй — акции, биржа.

На дворцовом плацу — торжественные и напряженно-бодрые парады, с шеренгами холеных коней, нетерпеливо танцующих под звуки марша; невзрачный полковник приятным баритоном говорит короткую заученную речь, вслед за которой сухо гремит долгое «ура», замирая протяжно и грустно.

«Тезоименитства» и «бракосочетания», с придворными «арапами», несущими на подушках регалии впереди бесконечного шествия, с «золотой ротой» в огромных медвежьих шапках (заставлявших почему-то думать, что эти вот самые и воевали с Наполеоном); за ними — цугом белые лошади, запряженные в золотые кареты. А вечером — иллюминации, жемчужные нити фонариков вдоль оживленных улиц, сине-красные на домах вензеля, свист и золотые брызги ракет на синем бархате неба. Прекрасно, волнительно, тревожно ночное небо, вспоротое фейерверком...

В городской ратуше — благотворительные лотереи, кустарный хлам под чахлыми пальмами и, как мухи на сладком, —

шаркуны с проборами безупречными у киосков сиятельных патронесс. Там же балы, демонстрация невест под звуки «Тоски по родине», мокрые правоведы в вихре вальса, шарики мороженого на запотевших блюдечках, отчаянное «гран-рон, силь ву плэ!», запах пыли, пудры, violette de Parme и липкая, сладкая теснота, как в коробке с конфетами.

И снова — утро, медвежья полость саней, синяя сетка на вороных крупах, где-то раскаты «ура» и рожок горниста.

В парке — коренастый генерал с бачками, брат «миротворца», отдыхающий от «трудов праведных», забавляется охотой на галок. Бах! бах! — и вздрагивают нервные мисс, прижимая пальцы к вискам, когда мечтательно падает к их ногам бездыханная черная птица.

На катке кружатся пары, солнце лижет лед, в «раздевалке» пахнет дымом, теплом и душистым мехом. Паж катит кресло, склонясь к маленькому розовому уху, над ухом завиток, посеребренный инеем. Слегка звенят коньки, вырезая гравюры на ледяной стали. В открытом

сарае трубы поют «Дунайские волны» и синеют лица замерзающих стрелков.

Но наряду с благополучной, пустопорожней этой жизнью, где одни повеле-



вали, другие молодцевато подтягивались или раболепно пресмыкались, третьи — развалившись в креслах, щурились в лорнет, — наряду с этой холеною, чинною и бдительно охраняемою жизнью,

загорались иные, большие тревоги и томления, шевелилась иная жизнь, обособленная и потаенная.

Уже покрыли себя бесславием генералы и интенданты на полях Манчжурии, уже девятьсот пятый год лег пятнами крови на снег Дворцовой площади и эхо расстрелов глухо долетало до Царского, неслышное, но осознанное с болью.

В эту пору в Царском Селе заговорил, как вестник политической весны, как человек «с другого берега», В. Евгеньев-Максимов. Казалось, он пришел напомнить о том, что в России были Белинский и Герцен, Некрасов и Салтыков, что шестидесятники недаром мечтали о свободе и первомартовцы погибли не напрасно. От него веяло конспирацией, нелегальщиной, и вообще нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Максимов преподавал реалистам русскую словесность, но почему-то декламировал на уроках Байрона и так был взволнован революцией, что иногда забывал надевать галстук и застегивать штаны. Мы любили его за простоту, за

вспыльчивость, за либерализм, за богатырское сложение, любили за то, что он метался по классу, как тигр, ерошил волосы и вдруг прорывался запрещенным стихотворением Некрасова, за что и был, в конце концов, убран из реального училища. После этого он еще больше привязался к Некрасову и решил писать о нем всю жизнь, как Разумник о Герцене.

(Им и ограничивались соприкосновения наших педагогов с литературой, если не считать юркого мосье Ривэ, иногда строчившего на уроках статейки в «Journal de St.-Petersbourg».

«Каспада, мине надо к завтра дать сто двадцатпиат строк про Шопен, что? Посидите спокой, прошю вас, каршо?..»

Впрочем, легкомысленный француз этот менее достоин упоминания, чем действительно отличные педагоги — Судовский, Котляров, Канделаки.)

Это были годы, когда сборники «Знания» начали вытеснять «Вестник Европы» и стало просто неловко брать в руки «Новое Время». Волновались студенты,

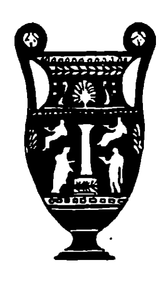
и красные косоворотки презирали «белоподкладочников». Росли забастовки, булочные вдруг перестали благоухать теплыми слойками, поезда спотыкались на рельсах, застывали где-то в пути, гимназисты шептались над гектографами, брали приступом женскую гимназию, звали девочек на митинги во имя эмансипации и вонючими обструкциями выкуривали суровых педагогов (о, гимназисты, струящие мятежный сероводород — не вы ли, возмужав, образовали Временное правительство?). Пунин, Кос и Антоновский (сын переводчика Ницше, ныне рабочий-каталь) пили коньяк и делали революцию. Появился «Рассказ о семи повешенных», с «черной калошей на снегу», от которой леденело сердце, марсельеза и красные ленты.

А когда все улеглось, «будни» зашагали по-новому. Глубже стало дыхание. И стало так явно, что в Царском прекрасно не царское, а что-то иное, прикрытое мундирным покровом. «Дух песен» зашелестел в парке, и «дивное волнение» закружило чьи-то головы, как

в дни лицейские. С Запада долетали стихи модернистов, томя желанием «de la musique avant toute chose», у нас входил в силу сладкогласный Бальмонт, им упивался в ту пору Гумилев, и всем хотелось «быть как солнце». Брюсов уже вошел в обиход «начинающих», и Блок волновал незабываемой магией простых слов. Но еще никто, кроме избранных, не слыхал «тихих песен», которые слагал Ник. Т-о, и не знал, какие дивные «трилистники» ложатся на дно «кипарисового ларца».

И до сих пор загадкою кажется образ Иннокентия Анненского. В эпоху, когда школа походила на департамент, когда был мерзок самый звук греческого языка, он сумел, не нарушая вицмундирного строя, застегнутый и горделивый, внести в сушь гимназической учебы нечто от Парнаса, и лучи его эллинизма убивали бациллы скуки. Но даже не в этой филологической «палестре» его заслуга и не в том, что пытались гимназисты постигнуть античную трагедию, и не в прекрасной речи в

Китайском театре на пушкинском празднике 1899 года: значение Анненского в том, что звал он «к таким нежданным и певучим бредням», к таким «пленительным и странным» мечтаниям, с которыми не сравнится никакая педагогическая «польза».



Но этот «нежный и зловещий голос» звучал для немногих, где-то там, «над высью пламенной Синая», а здесь, в долине, разве можно преодолеть жизнь бедную и грубую и разве может поэт пасти стада серых барашков? Барашки

питались историей Иловайского и «примечаниями» Манштейна. Гимназия — это означало: склерозное личико Мора, сухого старичка, сменившего Анненского, Овидий в синем коленкоре, дворянские привычки, в восьмом классе — усы, белые перчатки и «девочки». И было еще Реальное, совсем молодое, с черными барашками: там царили, как Гог и Магог, «Евтушевский» и «Краевич», житья не было от математики, но с интересом добывали кислород. Здесь дух разночинства презирал перчатки, вихрастые мальчишки лупили причесанных, и в воздухе носились крепкие слова, смущая «кувшинное рыло», призванное блюсти порядок.

В половине третьего — радостный гул освобождения и на улице — вечная война «синей говядины» с «ржавой селедкой», вроде войны гвельфов с гибеллинами.

Если Анненский был в свое время «окном в Европу» и символом обновления нашей литературы, то дырой в гоголевскую Русь был некий Фомилиант.

О каких пэонах могла быть речь с чугунным этим мамонтом?.. Он жил словно при Николае I, но к римской единице прибавил беспощадный «кол» и возник «Николай II», засиявший жидкой позолотой на черных, с желтым кантом, фуражках. Сомнения нет, что Гоголь его знавал, и было странно, что он не описан в «Мертвых душах». Сам он любил Гоголя, как верный старый пес любит доброго хозяина, и на «пустых» уроках сотни раз читал ученикам «Ночь перед Рождеством». Сквозник-Дмухановский, несомненно, приходился ему дедушкой (по женской линии, ибо был он еврей по рождению). Вечера его проходили в благородных состязаниях за зеленым столом, за классическим винтом. Прекрасен был наш «Исаак», когда прогуливался в училищном саду с доктором Карповым, замечательным тем, что он был ровно в два раза меньше своего начальника и друга, при том же объеме талии.

Утром не входил он в коридор, а выплывал, и, как песок под налетом

самума, разлетались, прижимались к стенке школьники, шаркали и кланялись торопливо. Неспеша плыл директор в кабинет, серебряная звезда сияла на синем сукне, коротким маятником покачивался «Владимир» на белоснежном пластроне и в такт ему колыхалась золотая цепь на обширной полусфере живота. «Но-но-но-но!» — падал грозный зык на чью-то провинную голову. Склонялась лысина с нализанными прядями, дугу описывал большой еврейский, трижды крещенный нос (он нюхал и лютерову ересь, и католические венчики, и ладан православия): Исаак Иванович царственным жестом обмахивал лаковые свои, зеркальные сапожки. Вздымалась лысина, порозовев, и в тот же платок белизны безупречной облегчался с громким трубным звуком директорский нос.

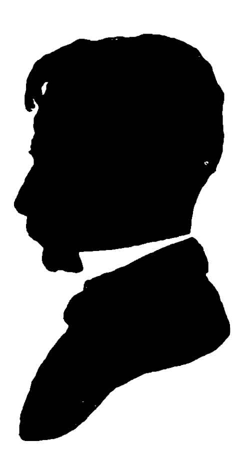
От синего, язычески-огромного живота пахло табаком, одеколоном и нафталином, когда надвигался он, сверкая пуговицами, и откуда-то сверху, заставляя сердце вздрагивать и спину холодеть, зычный бас громыхал хрипло и грозно: «Ты это

почему опоздал на молитву-у?» У этого баса были особые предгрозовые фиоритуры, когда он произносил сакраментальную фразу: «Ах, ты дрянь, Иванов, да ты прямо дри-ань! — и, после некоторой передышки, рявкал: — Вон из класса-а!» — отчего звенели стекла и голуби шарахались с подоконника. Трудно решить, был он хуже или лучше, чем язвительный чех Мор с его ut consecutivum и «большими русскими мерси». Старый немец был абсолютно невинен по части литературы. Когда гимназисты затеяли литературный вечер с чтением стихов Некрасова и явились к грозному Якову Георгиевичу за разрешением, «Я-мор», нахмурив седые бровки, спросил:

«Некрасофф? Это что за Некрасофф? Уж не тоше ли самое, что Боголюпофф?» (сиречь — Добролюбов).

Как необычен рядом с этими фигурами облик Анненского: казалось бы, и он затянут в то же синее сукно и так же тверд его пластрон. Благосклонный, приветливо-важный взор, медлительная, ласковая речь, с интонациями

доброго старого барства. Туго накрахмален высокий воротник, подпирающий подбородок и замкнутый широким гал-



стуком старинного покроя. А там, за этой маскою, — ирония, печаль и смятение; там — пафос античной трагедии

уживается с русскою тоскою, французские модернисты — с Достоевским, греческие «придыхательные» со смоленской частушкой. Он правил своей гимназией приблизительно так, как Эпикур выращивал свой сад, — но без свободы Эпикура. Когда потухал свет во всех окнах, его окна во втором этаже на Малой еще светились желтым сиянием: там, в кабинете директора, изысканные ямбы слагались в тончайшие узоры, и светлел «над шкафом профиль Еврипида», внимавшего чуждой ему речи, вновь повторяющей слова его героев.

Встреча на вокзале: в шинели бобровой, упрятав лицо в мех, легким шагом шествует по перрону директор. Улыбчивы серо-синие, усталые глаза, и невольно тянет посмотреть вслед, словно повисла в воздухе усталая эта улыбка. Обреченный на частые поездки в город, болел он той «железнодорожной тоскою», которая хорошо знакома обитателям пригородов. В «трилистнике вагонном» говорит поэт о «тоске вокзала» и мечтает «уничтожиться, канув в этот омут без-

ликий, прямо в одурь диванов, в полосатые тики».

...Остановился поезд ночью, на полустанке: тени, вздохи паровоза, приглушенные голоса. И «осеребренный месяцем жемчужным, этот длинный черный сторож с фонарем ненужным». И снова стук колес, бег паровоза, за которым «усталые рабы, обречены холодной яме, влачатся тяжкие гробы, скрипя и лязгая цепями...». Упоительна зимняя ночь, но несносна повторность пути и «запрокинутых голов в подушках красных колыханье». Как стон дорожной скуки, как жалоба измученного вагонной тряской пассажира, звучит финал одного из стихотворений этого цикла:

«Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень...
...И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень».

В поэзии Анненского нашел тончайшее истолкование царскосельский пейзаж или, вернее, особый комплекс обра-

зов и настроений, связанных с Царским Селом. До него это был пейзаж неоклассический и отчасти романтический, он же окрасил его в какие-то прерафаэлитовские тона, окутал его какой-то дымчатой истомой, сохранив, однако, всю чистоту и свежесть красок. У него редко встречается перечисление памятников, названий и вообще конкретных признаков царскосельского пейзажа, но нечто «царскосельское» разлито в большинстве его стихов. Эту особенность Анненского можно понять и почувствовать только подолгу живя в Царском, подолгу дыша воздухом этого города, пропитанным «тонким ядом воспоминанья».

Недаром же возникло паломничество «анненскианцев» в Царское Село (Архипов, Усов)...

Чтобы до конца проникнуться лирикой Анненского, нужно пережить что-то большое в тишине осеннего парка, нужно прислушаться к тому, о чем шелестят «раззолоченные, но чахлые сады с соблазном пурпура на медленных недугах», прислушаться к напевам осени, почув-

ствовать сладкую боль одиночества и «красоту утрат». Анненский — поэт осени, любивший ее за эмалевый колорит и «нежную невозратимость ласки», «за жел-



тый шелк ковров» и «черные пруды». Все лучшие вещи его написаны как бы на фоне осени, и притом осени царско-сельской. Это чувствуется даже в отвлеченных, символических стихах, вроде,

например, изумительных по лирической силе строк:

«Пока в тоске растущего испуга
Томиться нам, живя, еще дано...»



с их леденящим финалом:

«И сад заглох, и дверь туда забита,
И снег идет; и черный силуэт
Захолодел на зеркале гранита...»

Здесь нет ни одного явно царскосельского образа и, все-таки, не ясно ли, что это — поздняя осень в Царском Селе, что этот черный силуэт — одновременно и символ тоски, и чугунная статуя, убеленная первым снегом.

Анненскому была близка мистика «неодушевленых предметов», он обладал обостренным чувством вещи, и в его лирике часто сквозит желание как бы проникнуть в самую вещь, слиться с ней воедино (это — то, что заимствовали у Анненского или в чем с ним совпали Георгий Иванов и некоторые другие). «Белый мрамор, под ним водоем», «Андромеда с искалеченной белой рукой», «бронзовый поэт» и «обелиски славы» — все это вошло в его поэзию как нечто органически ему близкое. Он с нежностью говорит о безносой «Расе», статуе мира, и любит «обиду в ней, ее ужасный нос, и ноги сжатые, и грубый узел кос», — не первая ли это нота будущего акмеизма? Ему хочется самому стать частью этой неживой и грустной красоты: «Я на дне, я печальный обломок...»

Внимая безмолвной печали искалеченных статуй, поэт восклицает:

«О, дайте вечность мне, — и вечность я
отдам
За равнодушие к обидам и годам...»

И этот возглас так понятен, и так неодолим гипноз царскосельских образов, что позже к нему не раз возвращались другие поэты. В. А. Комаровский вспоминает о «равнодушии к обидам и годам» и приветствует возрождение «Расе»:

«Отремонтирован ее «ужасный» нос
Ремесленным резцом, и выбелены раны,
Что накопили ей холодные туманы...»

И тот же мотив равнодушия и всепрощения повторяется позже у Вс. Рождественского:

«Я только и могу, взыскательный поэт,
На звезды посмотреть, да «все простить
обидам...»

В стихотворении, написанном в альбом Л. Н. Микулич-Веселитской (автору «Мимочки», старожилке Царского Села), Анненский превосходно выразил эстетическую и мемориальную прелесть своего любимого города:

«Там на портретах строги лица,
И тонок там туман седой —
Великолепье небылицы
Там нежно веет резедой,
Там нимфа с Таицкой водой,
Водой, которой не разлиться —
Там стала лебедем Фелица
И бронзой Пушкин молодой...»

В этом городе поэтов, где лицеисту Пушкину являлась муза «в таинственных долинах» парка, «средь вод, сиявших в тишине», таким диким диссонансом кажется фигура вековечного «городничего», с которым Анненский беседовал на открытии памятника великому царскоселу. «Городничий», озабоченный тем, что бронза слишком блестит на солнце и это может не понравиться

«высочайшим особам», спросил: «А что, Ин. Фед., если бы покрасить памятник зеленой краской?» На что Ин. Фед. благодушно возразил с чудесной иронией: «Ну, почему же памятник, — лучше покрасить скамейки...», и предприимчивый сановник согласился, что скамейки следует предпочесть.

Какая жуткая символика в этом совсем анекдотическом диалоге... Всю жизнь Анненский мягко отводил чиновничью руку, пытавшуюся покрасить то, что блестит, потому что «знаете ли, неудобно, будут высочайшие особы...».

Есть горькая символика и в том, что Анненский умер на пути в Царское, на ступенях царскосельского вокзала. Остановилось усталое сердце, и некому было качнуть этот маятник, эту «лиру часов», о которой поэт писал в предчувствии внезапного конца:

«О сердце! Когда, леденея,
Ты смертный почувствуешь страх,
Найдется ль рука, чтобы лиру
В тебе так же тихо качнуть?..»

Когда перечитываешь траурные стихи Анненского, кажется, что он предвидел все «окружение» своей смерти, торжественное отпевание с «басами», позументами и камлотами, и особенно пейзаж,



который так настойчиво преследовал всю жизнь его воображение: «белое поле» и в нем пепельный бал, «мутная изморозь» и тяжелый рыхлый путь. Таков был день его погребения, мягкий зимний день, с туманными далями. «Под звуки

меди гробовой творился перенос», безмолвная толпа брела за пышной колесницей, «талый снег налетал и слетал», и медленно ползли по небу дымные тучи, как бы сопутствуя погребальному



шествию. Это был его пейзаж, это была одна из любимых его «декораций».

Как-то неловко сказать банальную фразу, что с кончиной Анненского (1909) Царское Село осиротело, но, конечно же, с «душой города» что-то случилось, она

затосковала о том, кто был, по слову Гумилева, «последним из царскосельских лебедей». Одинокая муза бродит в пустых аллеях, где вечером так «страшно и красиво», поет и плачет, глядит на случайного прохожего —

«И снова плачет и поет,
Не понимая, что все это значит,
Но только чувствуя — не тот».

И прав другой ученик Анненского, Пунин, сказавший, что из тех, кто знал покойного поэта, «ни один уже не войдет в аллеи царскосельского парка свободным от тоски, меланхолии или хотя бы обычности воспоминания о нем». Это воспоминание живет во всем — «в нежно дрожащем просторе озера, в ветвях, чернеющих перед фронтонами Екатерининского Дворца, в белом мраморе замерзающих статуй», оно — в мелкой дрожи тонких, трепетно шуршащих акаций и в жалобных кликах черных лебедей, рассекающих сонные воды.

Лирик по природе, Анненский все-таки был, вольно или невольно, «чинов-

ником» по образу жизни. Наоборот, сплошным протестом против всякого чиновничества, мятежником, не способным подчиняться казенному укладу жизни, вошел в царскосельскую тишь (то было в 1907 году) сосредоточенный писатель, остро отточивший свое критическое перо, — человек совсем не царскосельского стиля: Иванов-Разумник, высланный из Владимирской губернии за слишком близкое общение с крестьянством. В Царском «хождение в народ» было невозможно за отсутствием народа, и оставалось только хождение по парку.

Разумник носил либеральные сапоги с голенищами и водил на цепи тревожную собаку, похожую на общественное мненье, «пружину чести, наш кумир».

Собака была охотничья, раньше принадлежала Пришвину и увековечена в одном из его рассказов («Крутоярский зверь»). К Разумнику попала потому, что потеряла нюх, но он ходил с ней не на охоту, а за газетой, для чего нюха не требуется.

Критические выступления Иванова-Разумника заставляли о себе говорить, его считали продолжателем Михайловского, но едва ли кто догадывался о всей значительности этого молчаливого и скромного человека, сумевшего сочетать народнические симпатии с признанием символизма. В лирической музыке Царского Села голос Разумника, серьезный и сдержанный, без всяких интонаций, прозвучал как призыв от «эмоций» к «интеллекту». Белинский, Герцен, Салтыков-Щедрин и... Блок, Андрей Белый — такова странная комбинация его симпатий, замешанных на подлинной культурности и большом душевном благородстве.

На фоне царскосельского пейзажа вспоминаются еще другие фигуры, чье родство с Анненским несомненно и чье утонченное творчество примыкает к тому же кругу настроений. Из них уже двое — в мире теней: один ушел от нас в ореоле литературно-салонной славы, другой остался почти незамеченным в литературе, оставив всего одну, мало известную, книгу стихов.

Есть люди, знающие, что автор «Первой пристани» и других стихов, подписанных псевдонимом «Incitatus», принадлежит к наиболее значительным явлениям нашей символической поэзии. В нем было нечто от Бодлэра и Теофиля Готье, но в стихах его звучали и совсем особые мотивы, в которых ирония и надменность сплетались с русской тоской и польским изяществом. Он «Питер променял, туманный и угарный, на ежедневную прогулку по Бульварной» и, став «примерным царскоселом», лечил свою буйную душу стихами «в аллеях липовых скептической Минервы». Комаровский как бы вынашивал в себе ритмы и сам казался олицетворением ритмической речи, когда бродил мерным шагом по глухим аллеям парка. Всегда один, с головой, откинутой назад, с тростью, засунутой в карман пиджака, рассеянный, словно прислушивающийся к каким-то далеким созвучиям, он проходил своей легкой походкой в глубь парка, часами кружил по аллеям, внезапно останавливался, декламировал вполголоса

стихи и вновь шагал, глядя куда-то вдаль.

Вот он стоит на гранитной веранде, о чем-то шепчет и взмахивает рукой. Он кажется помешанным и нелепым, но странно-очаровательным. Его одолевает какая-то тревога, весь голубой и зеленый мир кажется ему только блистательным покровом, наброшенным на черную бездну хаоса. Он отворачивается от безмятежной глади озера, сверкающего, как золотая чаша; нахмурясь, опускается на скамью. Канотье сдвинуто на затылок, руки опущены в карманы белых, с заворотами, брюк. Не любы ему ни «павильон хандры порфирородной», ни «в триумфальный год воздвигнутая арка» — «на скудном Севере далекий отблеск Рима». Ему мерещится, что там,

«на острове, посредине пруда,
Седые гарпии слетелись отовсюду
И машут крыльями. Уйти, покуда мочь?..»

И он уходит с тем, чтобы завтра вернуться сюда и снова ворошить в душе предчувствие беды.

Он был весь крепкий и стремительный, его широкоплечая, сутуловатая фигура дышала свежестью и силой, но душу его точили смятение и страх, какая-то вселенская боль, которая сводила его с ума и которая разорвала его сердце в непоправимый день, начавший мировую бойню. Невольно вспоминаются его стихи о «Расе» — увы, как иронически звучат они, как сомнительно возрождение мира и как невозможно равнодушие...

В роли поэта и художника Комаровского знали почти исключительно в кругу «Аполлона». В живописи он был также странен и жутковат, как и в стихах, любил искусство Византии, писал суровые головы, похожие на церковные лики. В «Аполлоне» его считали своим, но до широкой публики он так и не дошел, ни при жизни, ни после смерти. Аристократия не принимала всерьез этого «чудака» и «сумасброда». Муза Комаровского могла бы повторить слова Тютчева:

«Ты знал его в кругу большого света:
То своенравно весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт — и ты презрел поэта».

В те же годы, когда творил Комаровский, пытаясь выразить стихами неугасимое свое томление, крепло и росло дарование другого поэта, которому суждена была широкая известность, но который погиб так же рано, как Комаровский, пережив его всего на семь лет.

Он начал, как многие, с «бальмонтизма». Его ранние стихи взвинченны и патетичны. Правда, трезвость не покидает его никогда, он чувствует ремесленную сторону стихотворчества — «и сразу в две редакции глядят его глаза», как ядовито заметил Кривич (имея в виду «нас» и «Арзамас»). Болтовня с гимназистками, прогулки с декадентскими барышнями, при свете луны, озаряющей чесменские ростры, «палладиев» мост, турецкую баню, в которой никогда не мылись ни турки, ни русские.

— «Николай Степанович, вы — революционер или монархист?»

— «Монархист. Но при условии, чтобы правила красивая императрица».

— «Николай Степанович, посоветуйте, какое мне сделать платье?»

И размеренный, спокойный ответ, сразу, без колебаний:

— «Платье? Пурпурно-красное или серо-голубое с серебром. Но, дитя мое, зачем, вообще, платье? «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать...» «Дитя мое, будем, как солнце!..»

Внимательно смотрят с неба голубые звезды, мерцая нежно и сочувственно; бархатный покров ночи окутывает сцену, достойную кисти Сомова.

На смену бальмонтизму пришли другие мотивы. Недаром юный конквистадор еще в гимназические годы проникся поэзией Анненского, приветившего его талант, и впоследствии с нежностью вспоминал о днях, когда он, «робкий, торопливый, входил в высокий кабинет», где ждал его «спокойный и учтивый, слегка седеющий поэт» и где для него

звучала музыка еще неведомых миру стихов. Это были встречи двух муз, двух зорь, и «руки одна заря закинула к другой» (Блок). Это чувство выразил Анненский в надписи на своей книге, подаренной молодому поэту:

«Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю».

В дальнейшем, при всей разности поэтических темпераментов учителя и ученика, элегические мелодии Анненского не раз проскальзывали в лирику «конквистадора». И могло ли быть иначе, если он дышал воздухом тех же парков, где меланхолические вечера простирают над темными кущами свои серо-сиреневые крылья и последние лучи умирающего солнца золотят замшенные руины? Разве не Анненским навеяно это ощущение (такое явственное под шатрами вековых лип), что «деревьям, а не нам дано величье совершенной жизни», и разве

не голос Анненского, разве не его тоска слышится в строках, повторяющих знакомое сравненье:

«Как этот ветер грузен, не крылат!
С надтреснутою дыней схож закат,
И хочется подталкивать слегка
Катящиеся еле облака...»

Но поэту-акмеисту был тесен мир царскосельских образов, его влекла экзотика, ему хотелось кружиться в водовороте жизни, и он изменял Царскому Селу — то ради шумных кабачков Монмартра, то ради глухих дебрей Африки, то ради древней земли, «где гиппогриф веселый льва крылатого зовет играть в лазури».

Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений, он с одинаково жадным любопытством вскрывал себе вены, пробовал топиться в Сене, затягивался дымом опия, бросался в огонь сражений.

Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Эмаром, но кто

осуществляет в своей «взрослой» жизни этот героический авантюризм? Он — осуществил. Его увлекали опасные затеи, далекие путешествия, он скитался по южным морям, по тропическим странам и привозил оттуда «клыки слонов», «меха пантер», «картины абиссинских мастеров», персидские миниатюры. Над ним трунили, упрекали в позерстве, называли «изысканным жирафом», смеялись над его «экспериментами». Он же презирал благополучных обывателей, из вежливости отшучивался, а в душе злился, «как идол металлический среди фарфоровых игрушек».

Казалось, что в царскосельском парке он прислушивается не к шороху листвы и журчанию каскадов, а к далекому грохоту Кагула и Чесмы, о которых гласят надписи обелисков. И на войну он пошел потому, что искренно не понимал, как можно

«жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед...».

Он шел навстречу опасности, видел смерть лицом к лицу —

«И святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь».

Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это — прекраснее всего на свете. Потом забываем: деладелишки, мелочи повседневной жизни вытесняют «романтические цветы». Забываем. Но он — не забыл, не забывал всю жизнь. Затерянные, побледневшие в нашем обиходе слова: «победа, подвиг, слава» — звучали в его душе, как призыв боевой трубы, а ужасы войны укрепляли его в уверенности, что «людская кровь не святее изумрудного сока трав».

Деревянный дом на Бульварной помнит его гимназистом: это была эпоха Бальмонта, балов и барышень. Помнит и его возврат из дальних стран, с африканскими трофеями, это — предвоенные годы, дом на Малой. Первые собрания «Цеха поэтов» в Петербурге — у Городецкого, на Фонтанке, в Царском — на Малой. «Синдики» поочередно заправ-

ляют заседаниями поэтов; в числе первейших синдиков, конечно, он —

«Ходок заклятый, ярый враг трамваев,
Калош презритель — тот, чье имя всех
Арабов устрашает», —

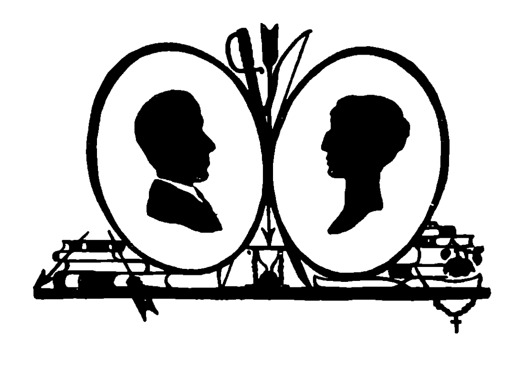
как выразился вдохновенный Пяст (он же Омельянович-Павленко-Пестовский).

Третий период — война, кавалерийская шинель, позвякиванье шпор. И последний — Революция, Петербург.

Он предвидел, что умрет «не в постеле, при нотариусе и враче», что отыщет грудь его пуля, «кровь ручьем захлещет на траву» и ему воздастся полной мерой за его «недолгий, горький век». Он внес в царскосельскую стихию запах крови тигровой и человеческой вместе с легким налетом библиотечной пыли. В садах Екатерины он мечтал о бегемотах и крокодилах, на берегу Нила бредил белыми медведями, но и тут и там не забывал об анакрузах и цезурах.

Он любил Царское Село не больше и не меньше, чем оно заслуживало (на его

взгляд). Он был слишком воспитан для того, чтобы не уважать традиций. В его памяти стоял небольшой томик, посвященный Царскому Селу, он брал его, когда нужно, перелистывал пожелтевшие



листы длинными своими, тонкими пальцами и пробегал холодным взглядом раскосых глаз, но сам не вписал туда ни одной строки (если не считать стихов об Анненском). За него писала о Царском другая — «восковая, сухая рука», много

раз лежавшая на его рукаве в часы долгих прогулок по парку. Вот почему

«В шуршании широкошумных лип
Мне слышится его тягучий голос»,

и в полумраке вечера встречается — в который раз... давно разлученная, но навсегда неразлучная пара.

У него осанка прусского лейтенанта, белесоватые глаза глядят и не глядят, веки розовы от ветра и словно не мигают. Длинная шея зябко втянута в воротник пальто. Голос прыгает от низких нот почти к дискантам, растягивая слова и проглатывая их, как устрицы.

Спутница хрупка и стройна, челка осеняет грустные ее, легкие брови. Тютчевская ночь стынет в ее глазах. Резок и крут ее профиль, движения мягки и бессильны, она слабо улыбается и прячет улыбку в муфту, как нечто такое, что нужно очень беречь от людей. Надломленным голосом рассказывает она о чем-то своем, неистощимо-женском.

Они идут, рука об руку, по дорожке, огибающей озеро, и прислушиваются

к шелесту шагов смуглого отрока, бродившего тут столетие назад:

«Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...»

Перед «Девушкой с разбитым кувшином» поэт вспоминает строки Пушкина



и Деларю, бранит стихотворение Комаровского. Женщина в черном испытывает что-то похожее на ревность, какой-то «смутный страх пред этой девушкой воспетой». Свершатся сроки, и станет она такой же бронзой или мрамором, такою же прекрасной и бездушной вещью. А пока что — она усердно играет роль довольно несносной, в сущности, женщины, часто плачет, безрассудно стоит на сквозняке, надевает на левую руку «перчатку с правой руки» и тщетно ищет «ту улицу, которой нет на плане».

(Увы! Как часто малейшая причина может посеять раздор между нежно-любящими... Сердца, вотще искушаемые светом и еще крепче связанные бедствием, сердца, устоявшие в волнениях на бурном море жизни, заблуждаются в день тишины и счастия, подобно кораблям, поглощаемым волнами, когда небо ясно и безоблачно.

Что-то столь же легкое, как воздух, одно слово суровое или поступок, худо истолкованный, часто потрясает любовь, нетронутую дотоле порывами бури...)

Шелестят листья, кружатся, как желтые бабочки. Сумрак окутывает деревья, тают контуры, мутнеет небо.

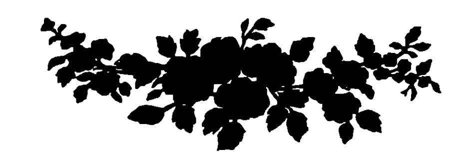
Стелется над озером туман, желтые листья шуршат под ногами. Сгущаются тени, и, как бледные призраки, выступают в сумраке мраморные статуи. Смутно белеют колонны Камероновой галереи, и над ней, в темнеющем небе, медленно ползут мохнатые тучи, величавые, как строфы романтической поэмы...

Не в эти ли часы зовет Феб к своему алтарю и вызывает призраки ушедших? Сплетаясь с повторными снами, с вещей памятью, с тенями встреч, предчувствий и разуверений, образы Царского Села, лирическим гореньем озаренные, сливаются в какой-то великолепный бред. Это бредовое восприятие Царского Села идет от Анненского через Комаровского и Ахматову к Рождественскому, одному из тех, кто причастен тайне «Кипарисового Ларца» и донес ее до наших дней. «Шепоты бреда» и «великолепье небы-

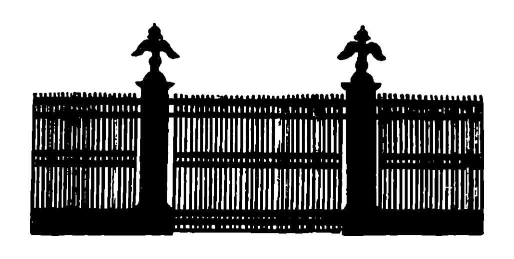
лицы» в царскосельских стихах Анненского, как эхо, звучат в его возгласе:

«О Царское Село, — великолепный бред,
Который некогда завещан Аонидам!»

В этом бреду не слышится ли голос «бронзового мечтателя» *) — его «уединенное волненье»?..



*) Изваяние, воздвигнутое, по компетентному свидетельству веч. «Кр. Газ.» (№ 279, 15 окт. 1927), при жизни великого лицеиста: «Памятник Пушкину в лицейском садике в Детском Селе будет приведен к 10-летию Октября в тот вид, каким он был при жизни поэта».



## 5.

Вот царскосельский дуб, орел
над прудом и лодки...

*Н. Оцуп.*

Белый дворец в царскосельском
парке,
Горбатый мост, минарет, пруды...

*Вс. Рождественский.*




каждого города своя судьба, как у людей. Есть города бесцветные и безличные, есть героические и славные. Есть города-летописцы, как Новгород и Псков, и города-купцы, как Тула с ее самоварами или Астрахань с ее арбузами. Есть города «проклятые», которых

«язык бранить устанет», и такие ненужные, что даже не всегда отмечены «кружком на карте генеральной». Совсем особенная судьба у Царского Села. На его долю выпало счастье стать колыбелью Пушкинской поэзии. Оно превратилось из города в литературный символ и для целой плеяды поэтов стало не только биографическим фактом, но превратилось в «Элизиум теней».

Город мой: о тебе нельзя сказать — «город как город». Тебя можно только любить сыновней любовью или ненавидеть за то, что стал ты кладбищем воспоминаний.

Tempora mutantur, но никакие подсолнухи не засорят мирные твои стогны, мой город... Хорошо смотреть на тебя в ясный летний день с высоты Белой башни: разграфленный на квадраты, укутанный курчавой зеленью садов, поблескивая золотыми луковицами, лежишь ты и дремлешь, греясь на солнышке; вот так хотел бы я укутать тебя своей нежностью, благодарной памятью, сентиментальною любовью.

Я ощущаю тебя, мой город, как собственное свое тело, и вот эту поломанную скамейку чувствую, как царапину на пальце, поврежденную статую — как заусеницу. Осенью, когда дожди разрыхляют аллеи и слюнявят шоссе, я чувствую, кажется, на всем теле налет дождевой сырости. Зимою острый холодок снега мнится мне прикосновением прохладной простыни к разгоряченной коже. Весною, когда проснувшаяся земля облегченно вздыхает и последний снег превращается в голубые лужи, чудится мне, будто сам я сейчас, восстав от сна, умываюсь теплой водой весенних ручьев. Летом, когда высокая трава в парке ждет сверкающего лезвия косы, хочется мне перебирать ее меж пальцев, как волосы любимой. В жаркий летний полдень в парках твоих — тень и свежесть; ветви, сплетясь в вышине, образуют почти сплошной свод, и только кое-где проглядывает небесная лазурь, словно смотрят сверху большие голубые, ласковые глаза и чуть трепещут их зеленоватые ресницы.

И тут же, рядом с приютом муз, — вертоград человеческий...

Кто кого не знает в благословенном этом городе? Господи, да каждая собака знает, что эти демисезонные мужи, пах-



нущие нафталином, с авторитетными пудовыми портфелями — академики Никольский и Крачковский, шествующие на поезд, чтобы шлифовать стулья в дундуковой канцелярии, а эта озабочен-

ная спина принадлежит В. В. Сиповскому, он еще не академик, но домовладелец и автор учебников, одобренных М. Н. П., что гораздо лучше; военный с головой, склоненной набок, с заложенными за спину руками — доктор Бритнев, муж нестареющей жены и трех прелестных дочерей, воспреемник всех новорожденных туземцев; профильная фигура в клетчатой куртке, это — благородный акварелист Оскар Клевер, а профиль с трубкой — отменно-практикующий портретист, Иван Богданыч Стреблов, которого «хвалил сам Репин»; а этот светлый юноша, головой едва не задевающий за телеграфные провода — Гулливер в стране лилипутов, это — Юриваныч Кос, первостатейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга, мальчишки пристают к нему — «дяденька, достань воробушка», и все знают, что третьего дня у него ощенился водолаз, так же, как все знают, что у бургомистровой жены (не у той, что прихрамывает, а у той, что в прошлом году вставила зубы) родилась двойня,

а племянница ветеринара сделала аборт, но прикидывается, будто у нее флюс; а что был именно аборт, а вовсе не флюс, об этом не далее, как вчера, Олимпиада Марковна говорила Секлетее Фроловне (уж она не соврет, извините!) в аптеке Дерингера, где покупала ромашку, т. е. покупала Олимпиада Марковна, а Секлетея Фроловна зашла так, по дороге...

(Сейчас, в неживой ночной тишине ленинградской квартиры, в остывающем к утру кабинете, вижу тебя, мой город. Откидываюсь в объятия кресла, закрываю глаза, оборачиваюсь назад...

Мне — 9 лет, воротник мундира давит шею, золотые пуговицы сияют, как очи гимназистки Ады, от встречи с которой каждый раз ухает и останавливается сердце («un doux penchant m'entraine»); вот здесь, где теперь пустырь, заросший лопухом, был дом, где я жил, был сад, где я в беседке готовился к экзаменам, одолевая премудрость Краевича и Саводника; вон на том углу я покупал яблоки у дородной Дарьюшки,

а вот на этом инспектор, по прозвищу «козел», поймал меня с папиросой...

Мне — 16 лет, небо звенит и сияет над моим героическим мозгом, студенческую фуражку я ношу, как корону, с Адой «все кончено навеки», в портфеле — Шимкевич и Менделеев; любезный мосье Жозеф держит меня за кончик носа, но его уверенная бритва тщетно ищет достойной жатвы под означенным носом; некогда, мосье Жозеф, скорее, я спешу на поезд, не опоздать бы на лекции, а вечером еще бал в Ратуше, где танцевать не буду за неумением, но буду «загадочно» скучать, фланировать, есть мороженое, играть в poste d'amour; дома же, ночью, вгрызусь в запретные книжки Толстого с их странной для глаза пометкой «alle Rechte behütet»...

Бегут скорее скорого студенческие годы, окутанные чадом лабораторий, мчатся под каждодневный грохот поезда, под песни землящеских собраний, бегут, окунаясь в сладостную тоску симфонических вечеров, в жаркую сумятицу студенческих митингов, в горький омут

влюбленности, торопливо бегут по жаркому, пыльному перрону, где газетчик Круглов, вечный, как мир, обмахивается веером газет, бегут сквозь снежную метель, на лыжах времени, полозьями коньков вырезают в памяти неизгладимые следы, скользят в неверном свете театральных огней, шагают под звуки дальних парадов... И не оторваться было от тебя, мой город, не променять было тебя на петербургский муравейник, не покинуть, — потому что был ты, как подушка, набитая снами, как старый шкаф с игрушками — одна другой милее...

Жестокая жизнь, как садовник, безжалостно срезает лучшие свои цветы: сколько разлук за плечами, начиная с юных лет...

О юность моя — первые мечты о литературе, о славе, о любви... Юность моя горькая, птицей пролетевшая юность, одинокая и замкнутая, — конечно, похожая на юность «всех великих людей», с тщетными поисками Истины, с бессонными ночами, с безнадежной любовью, с негодованием на «хладный свет», на

суету мирскую... О, эти муки души, бес-
нования ума, молитвы без слов... Мечты, овеянные крыльями врубелевских анге-



лов, опаленные огнем розановских прозрений, убаюканные музыкой Бодлэра и Верлэна, отравленные стихами Блока

и Сологуба; ночные бдения наедине с Беме, Сведенборгом, мейстером Экхардтом, Шеллингом, упоительные конфиденции с Ницше и Метерлинком; симфонические концерты в Павловске; разговоры с Дорианом Греем и Андреа Сперелли вперемежку с экзаменами по химии, кристаллографии и гистологии, с лекциями Лосского, Лапшина; первые стихи, «суконные» и голубые, как околыш студенческой фуражки...)

После долгих часов, проведенных за книгами, хорошо выйти белой ночью, на рассвете, на мертвенно-тихую улицу. Золотые блики загораются на крышах домов, на верхушках деревьев, на куполе собора. Гулко звучат шаги по тротуару. Копошатся в рощах парка сонные птицы, просыпаются, чирикают, напевают о маленьких своих тайнах. Протарахтит запоздалый извозчик, разбудит собак, растявкаются собаки, разворчатся. Влажный ветер играет благовониями жасмина, сирени. По бледному небу, божественно-ясному, кое-где раскиданы легкие белые перья. В полосатой будке

у входа в парк спит дряхлый сторож. За оградой журчит струя, бежит струя из клюва лебедя, поет о дальнем, о чем-то несбыточном. Душа, напряженная, как арфа, всеми своими струнами поет славу солнцу, утру, земле и небу, и радуется жизни, и забывает все обиды. Только в юности, и только в такие часы можно забыть обиды. И только здесь, в безлюдьи, ранним утром, можно встретить маленького, подвижного человека с толстой тростью в одной руке, с книгой в другой. Он остановится, сунет книгу под мышку, протянет узкую руку с непомерно длинными ногтями, оскалится чудесной улыбкой и вдруг растает, как дым, так же внезапно, как появился...

От Пушкина до Анненского — вереница «пленительных загадок», все еще не разгаданных до конца. Разве не загадка каждый поэт, чья жизнь тенью проходит сквозь строй «ленивых и нелюбопытных»?..

Из лирической «антологии» Царское Село превратилось в «онтологию» лирики.

Есть уже нечто метафизическое в каждом ее образе. Царское было фатальным для плеяды Пушкина и стало фатальным для плеяды Анненского.

Муза Ахматовой неразлучна с этим городом, или, вернее, сама «златоустая Анна всея Руси» стала «царскосельской музой», по слову Марины Цветаевой.

Здесь ей «тревога путь пересекла», здесь томили ее печальные и пленительные загадки. Повсюду преследуют ее знакомые образы. В «золотом Бахчисарае» она «вспоминает с отрадой царскосельские сады» и узнает «орла Екатерины», слетевшего сюда с «пышных бронзовых ворот». На далеком юге, «под шатром тенистых тополей» ей мерещится старинный городок, «будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост».

Какой-нибудь «педант-краевед» найдет в царскосельской лирике немало погрешностей против реальности; он скажет, что в Царском есть и Екатерининский орел, и бронзовые ворота, но нет ворот с орлом, а около дворца нет ка-

зарм. Он не поймет, что в поэтическом бреду образы сдвигаются и смешиваются. Пусть уланы, о которых говорит другой поэт, никогда не стояли в Царском Селе — они бывали на пара-



дах, да и не в них дело, а в том парадно-гвардейском колорите, который так ярко окрашивал в былое время этот город;

«Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и рьяны,

Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...»
(Мандельштам).

Тот же мотив у Ахматовой:

«Морозное солнце. С парада
Идут и идут войска...»

И у Ник. Оцупа, «подраставшего на парадах в Царском Селе»:

«От звуков дальнего парада
Подрагивает медь листвы...»

У каждого города есть тайное пристрастие к тому времени года, которое ему более всего к лицу: для Царского это — не весна, не лето, а поздняя осень и особенно зима. «Осенней позднею порою» (Тютчев), когда «роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле» (Пушкин) — музы внемлют голосам осенних скрипок и ждут немыслимой радости. Но вот «покров зимы однообразный» (Вяземский) кутает в горностай мерзлые статуи, клочьями ваты увешивает столетние липы. «Седой Борей

угрюмо трубит в рог», и кружится метель по снежным полянам, при бледном свете мохнатых звезд. В этом «голубом кружащемся снегу» и зацветает лирический бред о Царском Селе. Без конца тянется зимний путь, освещенный мутным фонарем. Призраком встает из мрака «затейливый белый дворец и черный узор оград». Снег заметает следы, насыпает сугробы, слабеют усталые ноги, дыханье спирает в груди и гонит вперед неотвязный страх:

«Скорей, скорей,
О только б ее найти,
Не проснуться до встречи с ней...»

У красных ворот оклик сторожа — «куда?» — но дальше, дальше, к озеру, где «голубой огонек, где хрустит и ломается лед, под ногой чернеет вода...» (Ахматова).

Этот бред, как вечный, неизбывный сон о Царском Селе, повторяется позже у другого поэта (Рождественский): те же красные ворота («через красные ворота я пройду...») и та же черная прорубь

под коркой ледяной, — «мутный ветер», и «мутный дым», и томленье то же:

«Только б не проснуться,
Только бы успеть... Скорей, скорей
Губ ее снежинками коснуться,
Песнею растаять вместе с ней».

Он заклинает вдохновенье вернуть ему хоть на миг, хотя бы во сне Царское Село, и зимний сон возвращает ему и «бронзового мечтателя», и «будку с инвалидом», и засыпанного снегом Кифареда.

Здесь же обольщает любвеобильный ферлакур юных дев, убеждает их покорствовать воле Эроса. Посмотрите:

«Чугунная Леда трепещущих крыл
Не отводит от жадного лона,
Здесь Катюшу Бакунину Пушкин любил
У дрожащего золотом клена...»

«Вот и звезды, и поскрипыванье лыж» — тех самых лыж, что пробегают

по строкам Ахматовой («Знаю, знаю, снова лыжи сухо заскрипят...»), о ко-



торых вспоминает Вера Аренс («Мне мерещатся легкие лыжи...») и на которых

несется по снежной равнине Недоброво. И на тех же лыжах метели —

«трехпалубным ковчегом
летит сквозь ночь Лицей
под тишиной и снегом
на голос давних дней...»

(И н. О к с е н о в).

В этих строках, от Анненского до Рождественского, сохранилась душа Царского Села, как сохраняется из года в год повторный облик осени и зимы, сладкий привкус прелых листьев и свежий запах сухого снега.

Сохранился метафизический образ города, но много перемен испытал его эмпирический лик. В нем, как во всякой конкретности, нет и не было единого бытия. В то время, как гвардейщина в рейтузах и ботфортах лязгала шпорами и упивалась вином в накуренных залах офицерских собраний — эстеты из «Аполлона» упоенно скандировали стихи, ходили на премьеры и вернисажи, спорили о достоинствах Пикассо и Ван-Гога. Убеленные сединами литераторы «из XIX века» доканчивали здесь свою жизнь,

мирно и безмятежно, не чая бурь революции. К. К. Арсеньев по утрам ходил за газетой, легкий ветерок шатал его, казалось — вот сдунет и понесет, но он лавировал, перебирая слабыми ногами, белая борода развевалась на груди, тускло блестели за толстыми стеклами очков незрячие старческие глаза. А по вечерам, стоя за конторкой, скрипел он пером, и лампа под синим абажуром до поздней ночи освещала пергамент лысой головы. «Вестник Европы» доживал свою многолетнюю жизнь, исполненную гражданской доблести, больше, чем когда-либо, оправдывая пушкинскую эпиграмму.

И так же мерно скрипело другое старческое перо, П. В. Быкова, а рядом с ним скрипела непременная «Зинаида Ц.», все еще переводившая никому не нужного Мюссе. В «Ниве» и в «Петербургском Листке» можно было найти в отделе смеси портреты Арсеньева и Быкова рядом с похоронами микадо и «еще об уме слонов», они справляли юбилеи и состязались с Кони давностью

воспоминаний, как бы желая опровергнуть извечный поклеп на «старожилов», которые ничего «не запомнят».

В царскосельской тиши додумывал свое проплесневелое гегельянство древний Добольский. На окраине Баболовского парка, в одиноко стоящей даче, умирал Суворин. В Софии Меньшиков строчил бесконечные передовицы и фельетоны, а на досуге сидел над шахматной доской. На вокзале накачивался пивом и дымил трубкой багровый Мамин-Сибиряк. Вся эта группа литературных бюрократов, несмотря на различие в убеждениях и влиянии, по духу мало чем отличалась от тех «однодумов-генералов», которые, по слову Мандельштама, «свой коротали век усталый» в одноэтажных особняках за чтением «Нивы» и Дюма. Это была отживающая Россия, и не было ничего общего между нею и литературной новью.

В предвоенные годы Царское казалось каким-то салоном Муз, где встречались представители всех родов и течений искусства.

Поселился в Царском Головин, седой, как лунь, улыбчивый и великолепный, как добрый король из старого французского романа. Тени Орфея, Кармен, Дон-Жуана, вызванные к жизни волею мага, поселились в его обители, чтобы отсюда перепорхнуть к блеску рампы.

В этих скромнейших комнатах, залитых солнцем, с побегами винограда, вьющимися под потолком, с неизменным Лермонтовым и «Мадонной» Боттичелли на стене, с живописной группой фарфора на старинном бюро — кто только не перебывал из числа обитателей театрального Олимпа: и Станиславский, и Мейерхольд, и Юрьев, и Николай Петров, и множество других небожителей. В Царском позировал художнику Скрябин; вскоре после смерти композитора исчез неведомо куда его монументальный портрет. Здесь обсуждались все знаменитые постановки, с участием непременных Альмендингена и Зандина. Здесь дрожал и рыдал рояль под энергичными ударами Камчатова или лукаво мурлыкал, аккомпанируя песенкам

М. А. Кузмина; Макс Волошин привозил сюда из Коктебеля бесчисленные свои акварели.

(Забуду ли красочные рассказы маэстро о буйных тавернах Севильи, о древней Альгамбре, об итальянских церквушках, о «великом Шуре» (Бенуа), неистовом «Федоре» (Шаляпине), о сумрачном «Антоне Серовине» (В. Серов) и пламенном «Артуре Корове» (К. Коровин)?.. Забуду ли искры тонкого юмора, беглые и тем более великолепные очерки встреч и впечатлений?.. Забуду ли, наконец, покойного одноглазого Мишку, философа и флегматика, сонным ворчаньем нарушавшего тишину наших сеансов, когда художник, придвинув к мольберту массивный свой корпус, в белоснежную пижаму облаченный, живописал автора сих строк во цвете лет и в натуральную величину?..)

В предвоенные годы колесили на велосипедах по парку бородатый красавец Кардовский и его жена; иногда появлялись с ящиками красок Сомов и Добужинский; Лансере собирал материал

к своему «Выходу Елизаветы». Ежегодно жил здесь на даче некогда столь популярный Анатолий Каменский.

На Московском шоссе, на веранде большой деревянной дачи, Павел Петрович Чистяков рассыпал за самоваром свои то суровые, то веселые сентенции. На нем черная тициановская шапочка, просторный сюртук, сапоги с мягкими голенищами («хорошие, дворянские сапоги у меня»). Яркие, глубоко сидящие, далеко видящие, пытливые глаза светятся молодым огнем. У него орлиный нос под сократовским лбом и «мужицкая» бородка. С ним чаевничает его ученица и друг — О. Д. Форш. Павел Петрович ее «одобряет», а вообще женского художества не долюбливает.

«Барышни-то больше рисуют от безбрачия, рисунок редкая осилит; а краски лучше нас видят: на тряпках да на вышивках у них глаз наметался».

«Павел Петрович, неужели наша сестра так-таки ничего не стоит?»

«Нет, отчего же? Краски — женское, рисунок — мужское. Только художнику-то

прежде всего мужское полюбить надо. Да еще кругозор нужен, обхват всего. Глупый ученик, когда рисует, в одно место упирается и знай мусолит его. А надобно так: ставишь нос, смотри на рот, а нос сам вылепится. Вот, доложу я вам, был случай. Рисовала одна ученица натурщика «по частям», как все следует. Гляжу, батеньки! В непоказное место уперлась и уже в целый бурдюк у ней оно выросло. Шагнул я к ней: нехорошо, говорю, ученики засмеют. Уж и резинкой я её тер, и белым хлебом...»

«Рисуй строго, выполняй каждую безделицу. Это есть внимательность, правота, наблюдательность и, значит, глубокое изучение натуры...»

Давно осиротела дача на Московском шоссе; грустно поблескивает из глубины сада большое окно — одинокое окно заброшенной мастерской... Заглохли флоксы, поредели осины и березы, не слышно заливистого лая Чурки. Бедняга, привыкший к строгой чистяковской школе, в эпоху Татлина и Филонова затосковал и зачах...

— Новое поколение поэтов приходит на смену старому. Вот Дмитрий Коковцов, толстый и раскосый, весь в мечтах о средневековой романтике, бродит по городу с гордо поднятой головой и на концертах возвещает стихи о Тангейзере. В книжном магазине Митрофанова, где никто не покупал книг, желтеет на окне его поруганный мухами «Северный поток», рядом с приключениями «Шерлока Холмса» и «Грехами молодости». Умер он в начале войны, в зените своей жизни.

Всегда второпях, семенит по парку тонкими своими ножками Пунин, горя лихорадочным эстетизмом и еще не зная, на чем остановиться — на Серове ли, на Сезанне ли, или на русской иконе. За ним уже числятся полтора стихотворения в «Гиперборее». Он мелькает на балах в ратуше, на музыке в Павловске, торопится на поезд, спорит с курсистками, хитро моргает и выпаливает своим металлическим, стреляющим голосом какие-то веселые или резкие зазубренные слова. В несгибающейся его фигуре,

прямой и узкой, в блеске очков и подергивании лица была неутомимая порывистость, что-то упругое и зудящее. Он был похож на рыбу, которая помещена в аквариум и которой там мало воздуха. Со временем променял он чудесные водоросли искусства на гнилую тину «футуризма», монокль и клетчатые брюки «аполлоновца» — на кавалерийскую шинель и шпоры неистового, но истого комиссара. Впрочем, его шпоры образца 1919 г. играли чисто платоническую роль, ибо, слезши с Пегаса, советский Маринетти, кажется, ни разу не сиживал на обыкновенном, вульгарном коне. Но и тогда, и потом было ясно, что ему все равно — быть на коне или под конем, держаться глуби или всплыть на поверхность, — только бы чуять движение струй и преодолевать его, являя собой «недремлющую щуку», для которой нет ничего страшнее застоя.

Где-то на краю города жил летом Евгений Иванов, один из тех попутчиков литературы, которым суждено не-

заметно влиять на самые сокровенные ее ростки. О нем говорили в литературных салонах, хотя сам он почти ничего не говорил или, во всяком случае, не писал. Его красно-рыжая борода пламенела в кругу Мережковских и Розанова, у него бывал в Царском Блок, и здесь, за Кузьминскими воротами, в тумане вечерней долины, зародилось «Куликово поле».

«Был 11-го вечером у Ивановых в Царском. У них и вообще в Царском мне очень понравилось. У них — окраина — есть что-то деревенское, фруктовый садик, старая собака и огромная даль, на горизонте виден Смольный Монастырь... А в парке около дворцов пахнет Пушкиным: «сияющие воды» и лебеди...» (13 июля 1908 г., письмо к матери).

«Ездили мы с Женей целый день на велосипедах — в Царском и Павловске. Там — тишина, сквозные леса, снег запорошил траву. В сквозных парках едут во все стороны очень красивые конвойцы в синих кафтанах на стройных

лошадях. Разъезжаются и опять съезжаются. Ни звука. Только поезда поют на разных ветках ж.-д...» (26 окт.).

Блок любил «царскосельский пейзаж» в целом, но к дворцам, к памятникам, к роскоши минувших лет был равнодушен. Унылое поле за Кузьминым ему казалось прекрасней, чем барочная пышность Эрмитажа, — не потому ли, что в просторе этого «Куликова поля» ему мерещились предстоящие великие бои «двенадцати» с белогвардейскими войсками в страшные осенние дни девятнадцатого года? Кому, как не поэту-провидцу, читать в глазах истории судьбу своего отечества?..

Блок-«скиф» чужд миру Растрелли и Гваренги. Гораздо ближе этот мир его друзьям эпохи «красного вина» — Георгию Чулкову, Константину Эрбергу.

Царскосельские декорации не мешали Чулкову олицетворять собою мистический анархизм; бледное лицо его, увенчанное шапкой черной шевелюры, часто мелькало на вокзале, — свешивался длинный нос над кипами книг в киоске,

словно что-то вынюхивал. В домике Грибовского, на Малой, во дворе, писал он свою «Метель», заставляя старуху-княгиню бродить с англичанином управляющим по Екатерининскому парку.

На «Капризе» с книжкой в руках сиживал Конст. Эрберг, щурился на солнце, преодолевал земной плен и корректно обдумывал, в чем заключается цель творчества.

В сущности, продолжал жить в этом городе и Анненский. Не могла отлететь его муза, покуда кипарисовый ларец оставался в Царском Селе. И не только наследие поэта, но и весь строй его души остался здесь, охраняемый и сберегаемый другим поэтом, близким ему двойным родством — духовным и кровным: в Анненском-Кривиче прочно связались в единое целое хорошие литературные традиции, сокрушительное острословие, «вечера Случевского» и ранний «Аполлон». (Наперекор Хроносу, отпустившему ему уже полвека, сохранил он сочность чувств и военную выправку, — опекун рукописных писателей,

амфитрион литературных чаепитий, кладезь анекдотов и рог сатирического изобилия, энтузиаст российского слова и верный блюститель «заветов милой старины», — он, чей графический пробор, коллекция трубок и матерая шинель сочленены с Царским Селом столь же тесно, сколь его «Смоленская плясовая» с литературными вечерами в городе муз).

Совсем отошли в прошлое Микулич-Веселитская с ее «Мимочкой» и почти столетняя Зарина с двумя литературными сыновьями; вместо них появилась зоркая и остроумная Форш; начав кое-как в «Вестнике Теософии», она впоследствии принесла не дамскую, а крепкую мужскую беллетристику в дар царскосельским музам.

Гимназия уже выдыхалась, нечего было и думать о рукописных журналах, вроде гумилевского «Горизонта», когда на гимназическом горизонте грозным стражем стоял Мор. Золотые медали срывали один за другим бесконечные Оцупы, из которых старший подвизался в литературе в качестве Сергея Горного,

а остальные десять (или немного меньше) готовились последовать его примеру. Один из них — Павел — начал филологическую карьеру, но погиб в буре революции, другой — Николай — ненадолго и неярко расцвел в «Цехе поэтов», где и был дешифрирован, как «общество целесообразного употребления пищи» (О. Ц. У. П.).

Реальное выпускало крепколобую молодежь, бравшую штурмом всякие институты, надевавшую небесно-голубые брюки и тужурки с наплечниками. Там музы были не в почете, и только восторженный Дешевов ушел из мира прозы в царство Мельпомены; маленький, подвижной, с лицом Шопена, с черными горящими глазами, он появлялся на концертах, подбегал к роялю и исторгал из него бешеный водопад звуков, заставляя зал замирать от восхищения и патриотической гордости: на эстраде был первый царскосельский композитор, и потому затравленный рояль ни в ком не вызывал жалости.

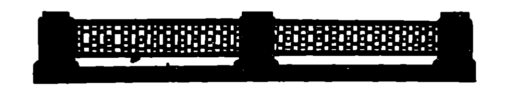
Вольной ватагой росла молодежь в «двуполой» школе Левицкого: веселые, розовощекие мальчики и девочки в красных кепках, как мухоморы. Здесь воспитывались дочери Розанова; здесь Форш учила ребят незатейливому художеству.

Милостиво прощенный «августейшим племянником», вернулся в Россию Павел Александрович с гр. Гогенфельзен, и домовитая эта дама принялась устраивать в Царском богатое свое жилище. В этом «Луисез'е» вырос прехорошенький мальчик, писавший неважные, но задушевные стихи, изящный мальчик, впоследствии погибший.

Смешливые и, кажется, глуповатые великие княжны приезжали верхом из Александровского дворца в Реальное заниматься физикой у Цытовича.

Жизнь шагала не торопясь и как будто бестревожно.



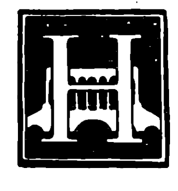


## 6.

То лето было грозами полно...

Все расхищено, предано, продано...

*А. Ахматова.*

аступил 1914 год. В душном предгрозовом затишье небывало жаркого лета прозвучала, как страшное предзнаменование, боевая труба Беллоны и всколыхнула царскосельскую тишь. Защитные шинели сменили серо-сиреневые. Потянулись на фронт мрачные эшелоны с песнями, в которых лихие слова плохо прикрывали тоску и страх. Появились белые косынки сестер милосердия и скоро, очень скоро — черный креп, под которым по-нестеровски скорбно глядели заплаканные глаза.

Первые сражения на фронте, от которых больше всего пострадала гвардия, здесь ощущались сильнее, чем где-либо. Всех охватил национальный пафос, волнение, жажда победы.

Потом наступили будни войны. Стали привычны и лазаретные дамы, и инвалиды с «георгиями».

Подошла осень 1916 г. — последняя осень старого мира. Она как-то особенно врезалась в память своей странной и жуткой настороженностью.

(Из многих встреч с Розановым только одна — в Царском, у меня на Московской, пронзительно-тоскливая, похожая на кошмарный сон.

Сентябрь 1916 г. Непроглядно черный вечер за окнами, вой ветра, дробный стук дождевых капель. Обходя книжные полки, эти пыльные колумбарии великих мыслей, касаясь пальцами корешков, спрашивал Василий Васильевич: «Это что — Гегель? Фихте? А это — Вейнингер? Не знаю, не читал, честное слово, не читал и читать не собираюсь. Соловьев? Не люблю. Но, Боже мой, как мало я от

него взял, как был к нему невнимателен... Ну, что вы хандрите? Ну, рассказывайте. Покажите Ваши эльзевиры. Прочтите мне что-нибудь из вашего несчастного Блока. Это что у вас — Куинджи?» (за Куинджи принят был Арт ван-дер-Неер).

За ужином, касаясь моей щеки рыжевато-седыми, запачканными провансалем усами, говорил:

«Мир вовсе не так страшен, как вам кажется. Забудьте обо всем. Просто — живите. Учитесь, любите, много и сильно. Что? Вы говорите, Россия разваливается? А черт с ней, с Россией, этой ленивой бабищей...»

По дороге на вокзал говорил о тяготах писательских будней.

«Вот, вы занимаетесь философией, искусством. Вы хозяин себе. А каково мне ходить в упряжи газетчика? Ах, вы не знаете, какая дрянь наша редакция, какая сволочь... Только Египтом и спасаюсь...» (Он работал в те дни над «Восточными мотивами».)

Котелок его съехал на бок, на кончике носа дрожала капелька.

Слегка задыхаясь от быстрой ходьбы, ежась от сырости, он бросался к каждому прохожему с вопросом: «Есть у вас спички? Нет? Ну, что за несчастье!»

Черный ветер поздней осени скоблил лицо, как тупая бритва, свистел в ушах, забирался за воротник.

«Вы ходите к б....м? Почему же не ходите? Напрасно. Я в ваши годы ходил. А «святая любовь» сама по себе, ничего ей не сделается...»

Крыши домов, тротуар, лицо Розанова лоснилось от дождя в тусклом свете редких фонарей.

На вокзале — унылая группа раненых солдат, уже не отдающих честь; юные прапорщики, розовые и невинные, как матка непоросившейся свиньи; хмурые чиновники под мокрыми зонтами.

Долгий, надрывный гудок, два ярких глаза во мраке, пыхтение паровоза, остановка. Розанов — с площадки вагона: «Ну, до свиданья, Христос с вами, приезжайте, пишите. И не думайте о гойевских химерах. Да отойдите от вагона, отойдите же, поезд сейчас тронется!»

И он яростно затопал короткими ножками в неуклюжих, забрызганных калошах.

...Давно уже нет Розанова, нет и той, о ком мы говорили в этот страшный вечер. Все течет, все отступает в прошлое, «боль проходит понемногу, не на век она дана...». Проходит, и вновь возвращается, —

«Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет...»)

— Осень 16 года...

В последний раз благоухали чайные розы на террасе Екатерининского парка, и в запахе их таилось тление. Слабый запах тления примешивался к терпкому аромату вянущей листвы, летучей жертвенностью дышал воздух. Тишина стояла небывалая — казалось, что город вымер, все разъехались и никто не вернется назад.

Изредка проковыляет инвалид, скрипя деревянной ногой; пройдет женщина в

трауре, с желтой книгой Hachette'а в руке. Вдалеке, на учебном поле, грохочет артиллерия. Лениво каркают галки, грузно взлетая над «Диким островом». Золотится паутинка в косых лучах солнца. Пахнет медом, вином и разлукой, пахнет «умильной и таинственной прелестью» осени. Было предчувствие великого кануна и хотелось упасть на землю и, приложив ухо к ней, слушать, как постукивает усталое, черное сердце Земли.

«Последняя мохнатая листва
Незвонкие для глаз кидает трели.
Литыми перспективами дубы
Соперничают с замыслом Растрелли».

(Ин. Оксенов).

«Под перекличкою военных труб» вспоминается прошлое «прославленного воспетого городка».

С непостижимой ясностью ощущался в те дни genius loci, которому некогда был воздвигнут памятник в лицейском саду. Смерть ему не страшна, доколе

живы музы, но где он? в чем он? Чем отличается эта земля, эти деревья, даже это небо от всякой иной земли, иных деревьев, другого неба? Тысячи людей проходили и пройдут по этим палевым дорогам, и также будет хрустеть под ногами мелкий гравий. Но кто из них пройдет здесь с чувством живой сопричастности genio loci? Кто поймет, что здесь все — другое, чем в остальном мире, что здесь камень и дерево — из каких-то особенных молекул. И даже воздух совсем иной — в нем пушкинская свежесть и пряный привкус символизма, и что-то еще, чего не выразить словами.

«Если не пил ты в детстве студеной воды
Из разбитого девой кувшина,
Если ты не искал золотистой звезды
Под орлами в дыму Наварина —
Ты не знаешь, как эти прекрасны сады
С полумесяцем в чаще жасмина».

(Вс. Рождественский).

Кто поверит, что есть особый круг людей, молчаливой порукой связанных,

для которых здесь, в безлюдьи этом, цветет сама литература, слышится шелест любимых книг и шелест крыльев.

«Скажите: Царское Село,
И улыбнемся мы сквозь слезы...»
(Анненский).

(Старый парк... Сколько раз, вернувшись к тебе после разлуки, хотелось упасть на гравий твоих дорожек, целовать каждую песчинку, каждый листик травы... Сколько раз ты исцелял тревогу и тоску, развеивал злые кошмары, шелестом вековых своих дерев заглушал вкрадчивые голоса лярв...

На берегу прозрачных озер, среди гранитных скал и седых мхов Суоми, в ленивых просторах Волги, на гористом берегу Понта Евксинского, на палевых дюнах Балтики — мысль всегда обращалась к тебе, к твоим беломраморным статуям, к твоим аллеям и боскетам, — и не было ничего, что могло бы заслонить твои величавые декорации.

Как упоительно в твоих аллеях дышать ранней весной испарениями от-

таявшей земли, осенью — ароматом прелой листвы, зимой — запахом снега, свежим и чистым, похожим на запах разрезанного арбуза...

У зеркальной заводи, где столетние ивы клонятся долу и простирают тонкие свои руки, окуная в воду широкие рукава своих серебристо-зеленых домино, сколько раз звучали мне мусагетова кифара и глухой голос Клио, повествующий о печальной прелести отошедших времен. И возникало предо мною прошлое: «дней Александровых прекрасное начало» и жившая «под сенью дружных муз» «неравная и резвая семья»...

Звездными вечерами в обезлюдевшем парке — в какие недосягаемые выси влеклась душа, упоенная мерцанием бесчисленных лампад, увлеченная космическими вихрями, незримой мистерии причастная, зовущая желанное безумие последних тайн...

Особенная твоя зима не похожа ни на какие другие зимы. Графические узоры оголенных деревьев, серебряные

арабески инея заставили здесь Вяземского вспомнить о великом Челлини:

«Твой Бенвенуто, о Россия,
Наш доморощенный мороз,
Вплетает звезды ледяные
В венки пушисто-снежных роз...»

Здесь вспоминаются и строки другого поэта:

«Les vases ont des fleurs de givre,
Sous la charnille aux blancs resaux,
Et sur la neige ont voit se suivre
Les pas étoilés des oiseaux» —

«Fantaisies d'hiver» эксцентричного парнасца, побывавшего в Царском в 1866 г. Почем знать — не чары ли старого парка связали незримыми узами музу Готье с музой другого «парнасца», так блестяще переведшего «Emaux et camées»?..

Зимним вечером феерични запушенные снегом деревья. Слышно, как дышат они мерзлой корой, зарываясь в ватную стужу; слышен тихий звон заиндевелых веток. А там, высоко, в голу-

боватой хрустальной чаше, стынет, как льдинка, круторогий месяц, льет холодное свое сиянье на снежные просторы. И печально-прекрасные медленно мутнеют дали, и неясная, смутная, безграничная, как Млечный путь, алмазной пылью забрызгавший небесный купол, подымается со дна души грусть, — царскосельская, зимняя, вечерняя грусть...

Под сень этих дубов и лип входили тысячи веселых и сытых людей, неся сюда свой досуг и ощущение хорошего обеда. Они с таким же чувством попирали эту землю, с каким ходили по Promenade des anglais или Unter den Linden, по аллеям Версаля и Булонского леса. Приходили сюда и другие, с лихим задором нигилизма, поминали едким словом «старую блудницу» Екатерину, пели Gaudeamus и вырезали на скамейках милые имена. Приходили всякие старички с собачками и без собачек, художники с мольбертами, англичане в клетчатых пальто. Грустные девушки бродили с томиками Блока, и франтоватые зубные врачи заговаривали им зубы

пошлыми комплиментами. Многодетные бухгалтеры проветривали здесь свое рахитическое потомство, и скукою повторных снов звучали здесь признания влюбленных «белоподкладочников». Все это было вне царского и вне литературы, и genius loci не улыбался им загадочной своей улыбкой, как не мог он улыбаться какой-нибудь юбилейной выставке или убогому «Царскосельскому Делу».

Так было и так будет: вечное разделение и в жизни, и в литературе на «посвященных» и «непосвященных», или, по слову Пушкина, чернь, которую вовсе не следует отождествлять с народом).

В ту осень — последнюю осень Царского Села — была во всем агония и просветление, и мусикийский шорох пробегал по сухой листве. Горестен и суров был этот шорох...

С фронта шли мрачные вести. Как ястреб, кружился над Россией темный дух Распутина, вампира, пролезшего в ампир, — дух дикого фанатизма, хлыстовства и похоти; газеты старались его угрызть, но сами тонули в распутстве,

широким потоком разлилось словоблудие, публицисты покупались и продавались, беллетристы из «Лукоморья» хвастали в стихах и прозе русской мощью, мечтали о кресте на Айя-Софии, все поголовно громили «подлых тевтонов», и, как всегда, громче всех возмущались жулики. Театры и шантаны ломились от публики, война жирно кормила казнокрадов, вылуплялись, неведомо откуда, новые меценаты и коллекционеры, бешено кутило тыловое офицерство.

В Царском под крылом полковника Ломана очутился голубоглазый и златокудрый Сережа Есенин, из него пытались сделать придворного поэта, но в воздухе пахло революцией, и поэта тянуло к иному кругу. Пестовал его Иванов-Разумник; Блок и Городецкий восхищались его стихами, и казалось иным, что стрелка истории колеблется оттого, что на одной чашке весов — злой колдун Распутин, а на другой — Есенин, светлый и благостный, как осиянная солнцем нива, еще далекий в ту пору от кабацкого дурмана.

Выстрел на Мойке оборвал жизнь Распутина и с нею — историю царизма. Еще гремело на парадах «ура», еще мелькали красные ливреи и за стеклом кареты виднелось заплаканное пухлое лицо Вырубовой, но уже ясно было, что все катится в пропасть, и в ушах у самых чутких, как Блок, уже стоял непрерывный шум от грохота падающих и разрушающихся миров. Освобожденный от плотского плена, дух Распутина еще шире расправил крылья над израненной страной. Как раскат грома, как сгущенный вопль, повисло над землей многоголосое, извечное и злобное матерное слово, вскормленное солдатскими вшами и сыростью окопов, ядреное, озверелое слово, готовое стать плотью — многоликою плотью измученного и яростного дезертирства. В грозовых тучах, нависших над престолом, уже обозначились апокалиптической фигурой — молот, серп. Кубарем слетел с высоты двуглавый орел — слетел тем легче, что уже давно не был на высоте положения. На лету судорожно ухватился он — в последней на-

дежде — за стэк Керенского вместо скипетра и за избирательную урну вместо державы; но поздно! — орлу, превращенному в ощипанную курицу, остается только сдобрить собою похлебку середняка. «Сера скотинка», «кисла шерсть», столетия служившая пушечным мясом и покорно терпевшая мордобой, обернулась к «начальству» с ответным мордобоем. И вот уже кромсают где-то, как котлету, жестоковыйного генерала, где-то громят винные погреба. Куда-то в небытие проваливаются серые чучела дворцовых городовых, словно растопило их мартовское солнце, как снежных баб. И таинственные котелки единодушно прекращают свои прогулки.

По ночам в окнах особняков не угасает свет, узкая щель огня пробивается сквозь тяжкие складки портьер. Вешний озноб пробегает по спине обывателя новым, незнакомым чувством. Алые флаги мелькают здесь и там, с грохотом катят грузовики. В безмолвии ночей сухо и резко хлопают где-то выстрелы.

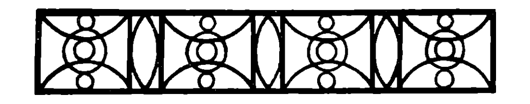
«С нами крестная сила!»

Ажитация в городе еще сильнее, чем во времена А. И. Тургенева, — только в другом смысле и в другом сословии...

В парке за оградой, под присмотром часовых, малорослый полковник в защитной шинели, с зеленовато-бледным припухшим лицом, с тусклым взглядом, ничего не выражающим, кроме глубочайшего равнодушия, ворошит в снегу лопатой — расчищает дорожки. А посреди Дворцовой улицы, нарушая все правила этикета, расхаживает чудом уцелевший петух, гребнем трясет, удивленно смотрит по сторонам. Долго ли ему жить, и кому дольше — ему или полковнику — неизвестно.

Одно было ясно: чья-то могучая мозолистая рука навсегда задернула плотной завесой из домотканной холстины маленькую сцену, которая называлась Царским Селом и на которой двести лет разыгрывалась трагикомедия царской власти.





## ПРИМЕЧАНИЯ К РИСУНКАМ*

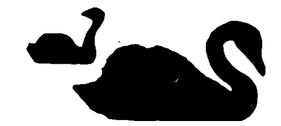
Стр.
28 — памятник Пушкину (Р. Баха) в лицейском саду;
33 — каминная решетка в Большом Дворце (Камерон);
-»- — начальная буква — Орловская колонна;
43 — античный мотив;
44 — каминная решетка в Большом Дворце (Камерон);
-»- — начальная буква — «Большой Каприз»;
45 — концовка;
46 — ворота и вазы «Пандуса»;
-»- — начальная буква — Орловские ворота;
48 — часы конца XVIII в. в Большом Дворце;
49 — Г. Р. Державин (по бюсту Рашетта);
51 — Екатерина II (по Фальконету и др. материалам);
53 — левретка Земира;
55 — Екатерина II в царскосельском парке (по Боровиковскому);
57 — концовка «Царскосельский лебедь»;
58 — придворная карета нач. XVIII в.;
-»- — нач. буква — «Арсенал»;
63 — «роза, дитя зари»;
65 — «Кайданов берет сатирика за ухо»;

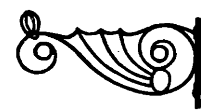
---

* Примечания Э. Голлербаха

68 — Н. М. Карамзин (композиция — по Дуттенгоферу);
70 — В. А. Жуковский;
73 — вечеринка лицеистов;
83 — «батарея превосходнейших вин»;
86 — памятник Ланскому;
87 — Пушкин и Смирнова;
88 — А. С. Пушкин (по посмертной маске и др. материалам);
91 — В. К. Кюхельбекер (по гравюре Матюшина);
97 — Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич (по Чернецову);
98 — чернильница Пушкина (подаренная ему П. В. Нащокиным);
99 — часы нач. XIX в., раб. Томира;
101 — первый поезд между СПБ. и Ц. С. (1837);
104 — экипаж гр. В. А. Соллогуба;
111 — может быть, Вл. С. Соловьев;
112 — концовка;
113 — ворота «Любезным моим сослуживцам» (арх. Стасов);
-»- — нач. буква — «Турецкая баня»;
117 — лейб-гусар в парадной форме;
120 — «на катке кружатся пары»;
125 — античная ваза;
130 — Ин. Ф. Анненский;
134 — дискобол Мирона;
135 — боргезский боец;
140 — Геракл Фарнезский;
141 — Аполлон Бельведерский;
155 — Н. С. Гумилев и А. А. Ахматова;
157 — статуя «Молочница» (раб. П. Соколова);
160 — концовка;
161 — ворота Московского шоссе (арх. Горностаев);
-»- — нач. буква — церковь Знамения;
164 — Эскулап и три грации;
169 — ворота у «Холодной бани» (Камерон);
173 — лейб-гвардии улан;
177 — Вс. А. Рождественский;

192 — концовка;
193 — ограда набережной по Садовой ул.;
-»- — нач. буква — Палладиев мост;
208 — «чудом уцелевший петух»;
209 — спинка парковой скамьи;
210 — концовка — австралийские лебеди;
211 — кронштейны у сводов под «Холодной баней».



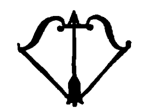
## КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА*

1. В. В. Розанов. Личность и творчество. Пг., 1918.
2. Царское Село в поэзии. СПб., 1922.
3. Дворцы-музеи. Собрание Палей в Детском Селе. М., 1922.
4. Портретная живопись в России. XVIII век. М.-Пг., 1923.
5. Рисунки М. Добужинского. М.-Пг., 1923.
6. В. Серов. Жизнь и творчество. Пг., 1923.
7. Графика Евгения Белухи. Л., 1925.
8. Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло. Казань, 1925.
9. Образ Ахматовой. Л., 1925.
10. Портреты. Стихи. Л., 1926.
11. Силуэты Г. Нарбута. Л., 1926.
12. Акварели М. А. Волошина. Л., 1927.
13. Современная обложка. Л., 1928.
14. Г. К. Лукомский. Казань, 1928.
15. Германский плакат. Л., 1928.
16. Александр Яковлев. Л., 1928.
17. Художественный экслибрис. Л., 1928.
18. Графика М. А. Кирнарского. Л., 1928.
19. Скульптура Н. Я. Данько. Л., 1929.

---

* Библиография дана с сокращениями (прим. ред.).

20. Графика Б. М. Кустодиева. Л., 1929.
21. Искусство эпохи Возрождения и нового времени. Л., 1928.
22. Искусство Д. Бурлюка. Нью-Йорк, 1930.
23. Поэзия Д. Бурлюка. Нью-Йорк, 1931.
24. Современная графика. М., 1938.
25. Архитектор И. Е. Старов. Жизнь и творчество. М., 1939.
26. Карл Брюллов. Гибель Помпеи. Л.-М., 1941.



# ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ* И ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

Стр.

33 Беседа (фр.)

34 «Память сердца» (фр.)
«Образное мышление» (фр.)
«Когда проникаешь в прошлое, нужно, чтобы оно прошло через сердце. Прошлое, которое проходит только через разум, — мертвое прошлое...» (фр.)

43 И так далее (лат.)

54 «Здесь покоится Земира, по ней все грации рыдают
И, безутешные в печали,
цветы на гроб ее бросают» (фр.)
«Земира нежною хозяйкой дорожила
И, как и все вокруг, с любовью ей служила» (фр.)

56 Вы великий создатель силуэтов! (фр.)

60 «Свежий цвет лица, светлые волосы, курчавая голова», «сущий дьявол в проделках, сущая обезьяна по выражению лица» (фр.)

72 Для себя (лат.)

75 Итак, поднимем бокалы! (лат.)

77 «Неизбежный Лицей» (фр.)
Какой ужас! (фр.)
«Между нами говоря, старуха, похоже, была в восторге от ошибки молодого человека» (фр.)

80 Экспромт (фр.)

81 Гению здешних мест (лат.)

82 Марки шампанского (фр.)

93 «Этот Оленин — чудовищно глупое созданьице» (фр.)

94 «Щелкунчик» (фр.)

96 Наедине (фр.)

98 Севинье Мари (1626—1696) — маркиза, блиставшая при дворе Людовика XIII умом, красотой и образованностью.

114 «Милый князь, Вы нас совсем забыли...» —
«О, никогда в жизни, графиня...» (фр.)

---

* Переводы Е. Д. Завалишиной

119 Пармская фиалка (фр.)
122 Название петербургской газеты, выходившей на французском языке.
124 «Музыка — прежде всего» (фр.) — цитата из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии».
129 Придаточное предложение следствия (лат.)
145 «Стремительный» (лат.)
162 Времена меняются (лат.)
166 «Меня влечет нежное чувство» (фр.)
167 Почта Амура (фр.)
«Все права сохранены» (нем.)
198 Французское книжное издательство.
202 «На вазах белой сеткой иней
Цветы рассыпал из теплиц.
И на оснеженной куртине
Звездится след прошедших птиц». Строфа из стихотворения Т. Готье «Зимняя фантазия» в переводе Н. С. Гумилева.
«Эмали и камеи» (фр.) — сборник стихов Т. Готье.
203 Английская набережная в Ницце.
Название главной улицы Берлина.
Средневековый студенческий гимн.

**Цена 3 р. 75 к.**



СКЛАД ИЗДАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА»
Москва, Кузнецкий мост, д. № 18.
Ленинград, просп. Володарского, 53-а.

# ЦАРСКОЕ СЕЛО
## В ПОЭЗИИ

*СО СТАТЬЕЙ Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХА*

*РЕДАКЦИЯ Н. О. ЛЕРНЕРА*




«ПАРФЕНОН»
САНКТПЕТЕРБУРГ
1922



А. С. Пушкин в Царском Селе.
Силуэт работы Э. Голлербаха *(фрагмент)*

«Царское Село в поэзии» — поэтическая антология, составленная Э. Голлербахом.

Книга была напечатана в Петербурге в январе 1922 года тиражом 1000 экземпляров и с тех пор не переиздавалась.

Голлербах собрал посвящённые Царскому Селу стихи поэтов: Ломоносова, Богдановича, Державина, Деларю, Жуковского, Вяземского, Тютчева, Анненского, Гумилева, Ахматовой, Эрберга, Мандельштама, Комаровского, Аренс, Вс. Рождественского, Палея.

Мы публикуем стихотворение Э. Голлербаха, которым завершается антология.



Силуэт работы Э. Голлербаха.
Публикуется впервые

## Э. Г.

### Из цикла «Царскосельские стихи»

I

Здесь Пушкина родилось вдохновенье
И выросло в певучей тишине.
Здесь Лермонтов на взмыленном коне
Скакал на эскадронное ученье.

Здесь, сам себе мятежностью наскучив,
Медлительно прогуливался Тютчев;
Бродил, как тень, Владимир Соловьев,
Шепча слова сентенций и стихов.

И в озера лазоревый овал
Здесь Анненский созвучия бросал
Вслед облакам и лебединым кликам.

Звенят, кружась, рои веселых пчел,
И внемлет им чугунный дискобол, *
Клонясь к воде невозмутимым ликом.

---

* Дискобол — одна из двух бронзовых статуй (копии с античных образцов), украшающих гранитную пристань Большого озера в Екатерининском парке.

Мечтала здесь задумчивая Анна*
И с ней поэт изысканный и странный, —
Как горестно и рано он погиб!..

В шуршании широкошумных лип
Мне слышится его тягучий голос,
И скорбных галок неумолчный скрип
Твердит о том, чье сердце раскололось.

## II

К былым годам я памятью влеком...
Старинный наш припоминаю дом,
Где в о́ны дни бывали Пушкин, Пущин**.
Его уж нет. Вишневый сад запущен.
Жасмин заглох. Гнилые пни торчат.

---

* Поэтесса Анна Ахматова — см. предисловие.

** Дом на углу Московской и Леонтьевской улиц, ныне снесенный, принадлежал в начале прошлого столетия Лицею, и одно время его занимал директор Лицея Энгельгардт, у которого бывали Пушкин и его товарищи.

## Э. Г.

Я ухожу в глухой приют дриад,
В тенистый парк. Убор его редеет.
Под огород цветущий вспахан склон.
У колоннад, что строил Камерон*,
Кумачный флаг над Эрмитажем рдеет...**

О, если бы воскреснуть мог Персей,
Окаменевший в сумраке аллей,
И над Медузой одержать победу!..

Но не найти к минувшему дорог.
Седой Борей угрюмо трубит в рог,
И слезы льет нагая Андромеда.

---

* Камеронова колоннада или галерея пристроена к Большому Дворцу при Екатерине II; по сторонам длинной стеклянной залы расположены ряды ионических колонн; между ними бронзовые копии с античных скульптур. Камеронову галерею много раз изображали художники (из современных — Остроумова-Лебедева, Кардовская, Амосова и др.).

** Эрмитаж — павильон-столовая, построен Растрелли для Елизаветы Петровны около 1750 г.

Э. Ф. Голлербах

# ГОРОД МУЗ
## ЦАРСКОЕ СЕЛО В ПОЭЗИИ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
ТОВАРИЩЕСТВОМ «СВЕЧА»

КНИГА ИЗДАНА
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ТОО «АФИНА»

Редактор М. Б. Елисеева
Корректоры М. Б. Елисеева, С. А. Ерлыков

Набор и диапозитивы изготовлены ОА «Полар». Формат $60 \times 84^1/_{32}$. Гарнитура литературная. Печ. л. 7. Тираж 25 000 экз. Цена договорная. Отпечатано с готовых диапозитивов в АО «Светоч». Заказ 329.
197198, С.-Петербург, Б. Пушкарская, 10.

**Издательство «Арт-Люкс»**

Подготовка изданий к печати, включая редактирование, художественное оформление, съемку цветных слайдов, ретушь тоновых фотографий, изготовление иллюстраций, изготовление макета. «Арт-Люкс» специализируется на подготовке к выпуску фотоальбомов, альбомов по искусству, детских книг, иллюстрированных книг по истории.

